

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Награда и муки (публицистика)
Виктор Петрович Астафьев

Виктор Астафьев

Публицистика. Сборник "Награда и муки"

Награда и мука

К юбилею Пушкина

Пушкин все же человек "легкий". Он, как воздух, которым дышишь, проникает во все сферы русской жизни и является живее всех живых в отличие от юродивого, кровавого сатаны-вождя, о котором эти слова говорились. ...

Астафьев Виктор Петрович

Награда и муки (публицистика)

Виктор Астафьев

Публицистика. Сборник "Награда и муки"

Награда и мука

К юбилею Пушкина

Пушкин все же человек "легкий". Он, как воздух, которым дышишь, проникает во все сферы русской жизни и является живее всех живых в отличие от юродивого, кровавого сатаны-вождя, о котором эти слова говорились.

Будучи однажды в Михайловском ранней весной, во время вешнего разлива, когда цапли, только что прилетевшие в здешний лес, ремонтировали гнезда, я все время ощущал присутствие Александра Пушкина, казалось, вот сейчас, из-за ближнего поворота тропы вывернется он, улыбочивый, ясноглазый, подбросит тросточку и спросит: "Откуда вы, милые гости?" и, узнав, что из Сибири, звонко рассмеется: "Стоило в такую даль ехать, чтобы подивоваться мною и усадьбою? Было бы чем!"

Мне порой кажется, что я даже слышу голос Пушкина - юношески-звонкий, чистый, с убыстряющейся фразой так, что в конце он от нетерпения и напора внутренней энергии сглатывает слова, вечно спеша к чему-то и к кому-то, вечно гонимый мыслью, стихией кипящего внутри его слова и звука, подобного никогда не остывающей, все в нем сжигающей лаве.

Я думаю, если бы Пушкина не убили, он все равно прожил бы недолго. Невозможно долго прожить при таком внутреннем напряжении, при такой постоянно высокой температуре, на которой происходило самосжигание поэта. Говорят историки и очевидцы, что он мало спал, мало ел и все торопился. Дар Божий, Великий дар даром не дается, он требует отдачи, как говорят о современных, прославленных шахтерах, он, переполняя "запасники" поэта, выплескивается "через край", движет и движет им, не давая покоя, заставляя принимать муки человека с удесяттеренными муками, восторгаться красотой, так уж захлебываясь восторгом, и с каждым годом, с каждым днем подниматься творческим порывом или стихией таланта все выше и выше в небеса, все ближе и ближе к пределу, положенному разуму человека.

За пределы же, определенные Создателем, никому из человеков не дано было подняться, но избранные допускались к Божьему престолу.

Пушкин был допущен. За это и муки принял, и радости, и страдания изведаль такие, каковых нам, простым смертным, не дано изведать, не суждено пережить. Смерд, чернь не любит того, кто выше него взмывается, сдергивает его с высоты наземь, светоносного посланника небес, пытается сделать себе подобным, уложить его в

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
землю рядом с собою, хотя бы мертвого, и таким образом сравняться с ним, памятью, слепо веря, что мертвые у Бога все равны. Но за мертвым гением остается яркий след, и время, и пространство пронизаны тем светом и теплом вспыхнувшей жизни, которая воистину бесконечна оттого, что открытия и откровения, им сделанные, оставшись с нами и в нас, делают человека лучше, чище и лик его высвечивают, и разум его просветляют, и любовью к ближнему награждают.

Не вина Пушкина, Лермонтова, Шуберта иль Бетховена, что мы не захотели, во благо себе, воспользоваться их Великим и бескорыстным служением человеку, их муками и титаническими трудами, проложенной ими дорогой к добру, все-то тянет нас на обочину, в темный лес, в лешачьи болота.

Но если б не Пушкин, не Лермонтов и деяния десятков других творцов слова с их врачующей и вразумляющей музой, если б не музыка Бетховена, Шуберта, Моцарта, Чайковского, Баха, Верди иль Вагнера, не бессмертные полотна Тициана, Рафаэля, Гойи, Нестерова иль Рембрандта, человечество давно бы одичало, опустилось на четвереньки и уползло обратно в пещеры, тем более, что его все время неодолимо тянет туда.

Разум человека укрепляется только разумными деяниями и подвигом Христовым. Мы, человеки рождающиеся, на землю приходящие самыми беспомощными, самыми беззащитными, оберегаемы и хранимы теплом матери, вскормленные молоком ее, не всегда и сознаем, что от рождения уже взяты в лоно добра и красоты, созданной для нас Богом и Его возлюбленными творцами.

Со сказки о рыбаке и золотой рыбке, со стихотворения "Буря мглою небо кроет", с колыбельной песни матери, с вешнего цветка, улыбнувшегося нам на зеленой поляне, с вербочки, распустившейся к Пасхе, с тихого слова молитвы, с музыки, звучащей поутру, от полета мотылька, от пенья пташки, от всего того, что бытует, дышит и радуется вокруг нас, исходит защита от зла, и слушать бы нам повнимательней и видеть зорче земную доброту, внимать Пушкину, в нас поселившемуся с детства и зовущему к добру и миру, но не вождям и правителям, много веков размахивающим мечом и толкающим людей к битвам и кровопролитию ради укрепления трона тиранского и сомнительной антибожеской славы воина и поработителя.

За Пушкиным путь наш, за ярким факелом сгоревшей жизни, за мученическим и путеводным словом его – за титанами, подобными ему, украсившими и обогатившими человеческую жизнь, а не за вырожденками, стремящимися эту жизнь погасить и сделать землю пустынной и немой.

1996

Во что верил Гоголь...

В каждой великой литературе есть писатель, составляющий отдельную Великую литературу: Шекспир – в Англии, Гёте – в Германии, Сервантес – в Испании, Петрарка и Данте – в Италии. В русской литературе высится вершина, никого не затмевающая, но сама по себе являющая отдельную Великую литературу, – Николай Васильевич Гоголь. Однако и в его творчестве есть книга книг, ни от кого и ни от чего не зависящая, – "Мертвые души". Книга эта не просто учебник и энциклопедия русского национального характера, но явление высочайшего художественного достижения, с которым, на мой взгляд, трудно сравниться даже и последующей блистательной русской литературе.

Говорено, что все мы выросли из гоголевской "Шинели". А "Старосветские помещики"? А "Тарас Бульба"? А "Вечера на хуторе близ Диканьки"? А "Петербургские повести"? А пьесы Гоголя? Из них разве никого и ничего не выросло? Да нет такого истинно русского человека, да и русского ли только... Таких талантов, кои не испытали бы на себе благотворного влияния гоголевской мысли, не омылись бы волшебной, животворящей музыкой его слова, не поразились бы непостижимой фантазии. О, эта вкрадчивая, непринужденная простота Гоголя, всякому глазу и сердцу вроде бы доступная, живая жизнь, как бы и не рукой и сердцем кудесника изваянная, но мимоходом зачерпнутая из бездонного кладезя мудрости и мимоходом же, непринужденно отданная читателю!

"Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
о окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиной и грушами. Жизнь их скромных владельцев так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении".

Не знаю, кто как, а я нынче читаю эти строки со щемящим чувством в сердце, с сожалением о чем-то навсегда утраченном, чем люди дорожить не умели, и только придя "ко краю", заболели ностальгией по такому вот тихому, несуетному гоголевскому миру, не орущему о счастье своем, не доказывающему на кулаках преимущества тех или иных демократий, по миру, жившему надеждою и молитвою о братстве и достижении мировой гармонии с помощью труда, но не всесметающего оружия и злобы, помутивших человеческий разум.

Большого труда стоит вспомнить после отрывка из "Старосветских помещиков" и согласиться с тем, что Гоголь – разящий и беспощадный сатирик. Это умозаключение как бы уравнивает его с современниками, густо возле литературы обретающимися сатириками и юмористами, мелкотравчатыми остроловами, выжимающими смех всеми дозволенными и недозволенными средствами из доверчивых читателей, слушателей и телезрителей. Большой, конечно, озорник Николай Васильевич, редкостный балагур, непостижимый выдумщик. Но ирония его и смех его повсюду горьки, однако не надменны. Смеясь, Гоголь страдает. Обличая порок, он прежде всего в себе его обличает, в чем и признавался не раз, страдал и плакал, мечтая приблизиться к "идеалу". И дано ему было не только приблизиться к великим художественным открытиям, но и мучительно постигать истину бытия, величие и расхристанность человеческой морали.

Великий человек знал никчемность суетной мысли, греховность разрушающего слова, тщету раздора и цену уязвленного самолюбия. Он потому и велик, что выше лести и хулы; ему и милосердие великое свойственно. Пожалев шумного, настырного, но смертельно больного автора столь же пылкого, сколь и оскорбительного послания, проявив милость к болящему, он порвал бумагу, после обнародования которой мало чего осталось бы от "изумительной", по словам Гоголя, "уверенности в непреложности своих убеждений" "властителя умов". Гоголь верил в Бога, Белинский – в демократию. Гоголь видел глубину пропасти, разделившей их, и мог соизмерить силы свои. Поборник "передовой мысли" норовил перепрыгнуть пропасть по воздуху, безответственно игнорируя опасность и терзающие мыслителя муки от сознания гигантских противоречий, раздирающих мир и душу человеческую. Гоголь был всегда с читателем и остался с ним, поборник подлинной демократии тоже "пророс" во времени, и его призывы получили наглядное воплощение, да такое, что мир содрогнулся!

Мудро напомнив Белинскому о том, что "...нет двух человек, согласных во мнениях об одном и том же предмете, что опровергает один, то утверждает другой", он в конце письма, как старший брат, увещевает младшего: "...мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и Вы и я виноваты равномерно перед ним. И Вы и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сомневаетесь ли Вы... А покамест помните прежде всего о Вашем здоровье... Желаю Вам от всего сердца спокойствия душевного...". Это писано в начале августа 1847 года, а в середине того же месяца неуспокоенный, хорошо знающий крутость русского характера, Гоголь пишет П. В. Анненкову: "...Я получил письмо от Белинского, которое меня огорчило не столько оскорбительными словами, устремленными лично на меня, сколько чувством ожесточенья вообще. Последнее сокрушительно для его здоровья. Вы теперь при нем: отводите от него все, возмущающее дух его".

Письма Гоголя Белинскому, в особенности не отправленные, печатаются редко, говорится о них скользко и глухо, более для ученых, но не для широкого читателя, тогда как письмо воителя-демократа в наших вузах и школах провозглашается чуть ли не вечной программой морали. Типичное для нашей современности, проработочно-комиссарское письмо, конечно же, писано от имени народа и по поручению передового общества, которое, правда, не уполномочивало бойкого критика писать сей пасквиль.

Письмом этим Великий писатель низводится до уровня заблудшего отрока и даже врага народа, термином сим модным впервые был сечен и пригвожден к позорному столбу друг и единомышленник Пушкина Чаадаев, и теперь вот в ересь впавший русский гений. "Неистовый Виссарион" обвиняет Гоголя во всех грехах смертных, в том числе и незнании деревни. Ах, как пригодится потом этот завет передовым

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
вождям и мыслителям! Последующие поколения преобразователей России ринутся исправлять русский народ, строить по-новому деревню и новое общество безо всяких там "молив" и так истово начнут учить пахать и сеять, строить, поднимать на невиданные высоты отсталую деревню, что земля перестанет рожать, деревня русская опустеет, народ из нее рассеется по городам и весям, где только и способно рождаться "передовым мыслям" да демагогии. Более ничего в камнях и кирпичах рождаться не может, разве что химией вздобранный длинный огурец.

Но Гоголя не затмить, не скомпрометировать, не убить. Он уникален. И не только творениями своими, но и образом жизни, мучительной кончиной, смысл которой современными словоблудами, обретающимися на nive убогой атеистической пропаганды, давно и бесплодно пытающимися сбить с толку читателя, низведен до кончины деревенского дурачка или оперного юродивого, попавшего под воздействие церковных маньяков.

Духовное состояние гения, образ его мыслей и образ его жизни – это жизнь титана и муки его – титанические, Только мыслитель, подобный Гоголю, сумеет постигнуть всю глубину его страданий и боли и достигнет величайшего счастья, коли сумеет так же постигнуть литературную продукцию "разового" исполнения, но вечного пользования. Сближение чеховских чиновников с гоголевскими – всего лишь сближение, и не более. Единожды сделанное Гоголем художественное открытие в литературе не поддается никаким жанровым классификациям, никакой литературной дисциплине, нормам, исправлению – оно вне времени.

Может быть, Гоголь весь в будущем? И если это будущее возможно, если человечество окончательно не сбесится, не знаю когда, но оно прочтет Гоголя. Мы же прочтем его при нашей всеобщей суетности, поверхностной грамотности не смогли, мы пользовались подсказками учителей, а они действовали по подсказкам того же Белинского и еще – его последователей, путающих просветительство с уголовным кодексом.

Добро уже и то, что, пусть и в преклонном возрасте, пришли мы к широкому, хотя и не очень еще глубокому постижению гоголевского слова. Однако того закона и того завета, по которым это слово сотворялось, – не постигли. Законы ушли в раннюю могилу вместе с творцом, и ключ от них остался в сердце гения и в кармане его поношенного сюртука.

Для того чтобы постичь Гоголя, повторяю, надо или родиться Гоголем, или, совершенствуясь духовно, преодолев в себе читательские стереотипы и мыслительную инерцию, научиться читать и мыслить заново. Мы слишком самоуверенные и от самоуверенности поверхностные читатели. Гоголь же требует читателя Зрелого, который бы творил и творился вместе с ним. Он из прошлого века корнями "пророс" в нашу действительность, ибо гоголевской "материи" свойственно проникать сквозь пространственные наслоения, и, будучи написанными более полутора веков назад, пьесы, повести, рассказы, в первую голову бессмертная поэма его, – являются типичными для нашего времени. Одиннадцатая глава "Мертвых душ" – карьера Чичикова, чем не карьера современного пройдохи-чиновника?

Весь секрет, видимо, в том, что в основе своей человек, значит, и его характер, прежде всего, видимо, национальный русский характер, в худших и лучших своих проявлениях, особенно в худших, – мало переменчив. Вот почему в далеких гоголевских персонажах мы узнаем себя, обнаруживаем свои пороки и то самое, о чем, качая головой, говаривал творец: "Ох уж этот русский характер!", "Ох уж эта наша русская дурь!". Правда, мы не раз уже, и очень громко, объявляли себя и общество свое самым лучшим, самым передовым, разом переделавшимся, устремленным к какой-то качественно новой жизни, но Николай Васильевич – "к барьеру" нас! Оттуда, из первозданности человеческой исходя, а не из новомодных, быстро одряхлевших теорий устремляйся, брат, к усовершенствованию. Отрыв от отеческих корней, искусственное осеменение с помощью химических впрыскиваний, быстрый рост и скачкообразное восхождение "к идеям" может только приостановить нормальное движение и рост, исказить общество и человека, затормозить логическое развитие жизни. Анархия, разброд в природе и в душе человеческой, и без того мятущейся, – вот что получается от желаемого, принимаемого за действительность.

Редко кому удавалось возвыситься до Гоголя в театре, в кино, на телевидении. Даже вслух прочтенный Гоголь часто искажается, мельчится исполнительским фиглярством, паясничаньем, зубоскальством. Многосерийный художественный фильм "Мертвые души" получился карикатурным, пустым и унылым оттого, что его

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
постановщики прочли гениальную поэму и поставили фильм применительно к своему, весьма среднему исполнительскому уровню. В дерзости современникам не откажешь, хотя дерзость эта ничем не подкреплена, кроме разве что настырности. А нужно духовное и интеллектуальное сближение с миром и личностью художника, может, и равный Гоголю творческий подвиг и самоотречение.

Удивительно, что сам Гоголь и постановщики блистательных спектаклей "Мертвые души" во МХАТе и "Женитьба" – на Бронной – нисколько не пытались смешить публику, но выходило смешно. А вот постановщики и исполнители возобновленного спектакля во МХАТе и длинного телефильма из кожи лезут, чтобы посмешней сделать, но ничего кроме грусти и неловкости их потуги не вызывают.

Любой человек, тем более интерпретатор, тем более исполнитель, берущий в руки книгу Гоголя, должен решить для себя: готов ли он к их постижению. Трижды, может, четырежды спросить он себя обязан: а какие у него есть основания, чтоб "поработать с Гоголем", прикоснуться к святым страницам классики?

В одном из интервью Юрий Бондарев признался, что он "приблизился к Гоголю" лишь в пятьдесят лет. И многие-многие современники мои подтвердили, что по-настоящему открывать для себя этого чудесника слова начали в весьма и весьма почтенном возрасте. И не одни тут все упрощающие и опрощающие пропаганда и школа виноваты. Общее состояние эстетического уровня, может, и здоровья современного человека, живущего с полувключенным умом, перекормленного трухой массовой культуры, мешают тому.

Но зато уж когда "приблизись" к Гоголю, когда начнешь постигать, хотя бы и частично безмерную глубину его творений, – истинное это счастье, которое и переживать одному невозможно. Перечитывая недавно "Мертвые души", я бегал на кухню к жене, ловил за рукав гостей моего дома и читал им, читал куски из книги, где не только главы, но и отдельные абзацы воспринимаются как совершенно законченное произведение.

Воистину великий талант, щедрая природа его не терпит тесноты, но и уединенного наслаждения тоже. Он поднимает нас на какие-то неведомые нам высоты, заставляет еще и еще раз поразиться природе, изредка одаривающей счастьем приобщения к прекрасному. И тогда мы, как дети, начинаем ликовать, пересказывать друг другу прочитанное, ибо переполненное через край сердце жаждет выплеска, сообщения друг с другом и непременно отклика, взаимопонимания и любви.

Я верю, что, развиваясь вместе с гением и с помощью гения, люди читатели будущего – станут двигаться дальше и выше к духовному усовершенствованию, ибо гений человечества вечно в строю, вечно находится в изнурительном походе к свету и разуму.

В подтверждение полной принадлежности художника к современности – две цитаты из его писем:

"Время беспутное и сумасшедшее. То и дело что щупаешь собственную голову, не рехнулся ли сам. Делаются такие вещи, что кружится голова, особенно, когда видишь, как законные власти сами стараются себя подорвать и подкапываются под собственный фундамент. Разномыслие и несогласие во всей силе. Соединяются только проповедники разрушения. Где только дело касается созидания и устройства, там раздор, нерешительность, опрометчивость".

"Если только поможет Бог произвести все так, как желает душа моя, то, может быть, и я сослужу службу земле своей не меньшую той, какую ей служат все благородные и честные люди на других поприщах. Многие нами позабытое, пренебреженное, брошенное следует выставить ярко, в живых, говорящих примерах, способных подействовать сильно: о многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще, и русскому в особенности".

1989

Радетель слова народного

Сергей Васильевич Максимов родился 25 сентября 1831 года в посаде Парфентьеве, Костромской губернии. Отец его, мелкопоместный дворянин, был почтмейстером Кологривского уезда. Семья Максимовых была довольно большая, но все братья и

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevictor.ru
сестры Сергея Васильевича получили сносное по тому времени образование и "вышли в люди". Василий Васильевич, брат будущего писателя, был хорошим врачом, состоял профессором хирургии в Варшавском университете. Николай Васильевич командовал батальоном в сербско-турецкую войну, был ранен, был известным в свое время писателем, служил военным корреспондентом во время Крымской кампании.

Сергей Васильевич на втором году остался без матери. Отец, занятый службой и общественной деятельностью, мало уделял времени сыну, и он рос вольно, в обществе посадских ребятишек, часто ходил в лес, на реку, в деревни, и довольно рано и близко ознакомился с бытом простых людей, усвоил нравы и обычаи посадских обитателей, хранивших верность древлеотеческим устоям.

Начальное образование будущий писатель получил в народном училище Парфентьевского посада. Отец его, несмотря на малое образование, был тем не менее довольно просвещенным и развитым, много читал, был приятным мыслящим собеседником и состоял в близком приятельстве с другом Пушкина, академиком Павлом Александровичем Катениным, коротавшим ссыльные дни в своем костромском поместье.

Дальнейшее образование Сергей Васильевич получил в костромской гимназии - одной из лучших в России того времени. С благодарностью вспоминал потом Максимов гимназию и прежде всего преподавателей русской словесности, истории и географии - Пермякова. Истовый поклонник истории российской, пропагандист идей и трудов Белинского, Герцена, он имел огромное влияние на своих воспитанников, с которыми, по признанию Максимова, "изрядно нянчился". На развитие любознательного юноши оказал большое влияние и ученик старших классов гимназии, будущий писатель-народник Алексей Антипович Потехин, который снабжал книгами, руководил чтением и начальным творчеством младшего товарища. Так он помог Максиму в подготовке речи для выпускного акта в гимназии, и речь эта о великом сыне русского народа Михаиле Ломоносове, написанная искренне и тепло, произвела большое впечатление на общественность.

После успешного окончания гимназии Максимов устремился в Москву, мечтая поступить в университет на филологический факультет. Отец, как мог, содействовал этому стремлению сына, из скромных средств уделил ему все, что было возможно, но демократические и революционные движения в России привели к тому, что все факультеты для приема, кроме медицинского, были закрыты, и Максиму волей-неволей пришлось обучаться медицине.

Друзья-студенты знакомят Максимова с одним из интереснейших литературных кружков того времени при журнале "Москвитянин", который он хорошо знал еще со времен гимназии и во главе которого стоял знаменитый уже драматург Александр Николаевич Островский. В кружке Островского молодой студент нашел все, что было так близко и любезно его сердцу, - искреннее тяготение к простому народу и ко всему народному - в песне, в сказке, в бытине.

"Для нас, - вспоминал потом Сергей Васильевич, - незабвенным и знаменательным представлялось то явление, что в кружке московских друзей привольно было коренным русским людям, побывавший здесь уходил с более приподнятым челом..."

Молодежь, сплоченная Островским, написавшим к той поре "Свои люди сочтемся" и ободренным "самим Гоголем", собиралась в кружке для обмена мнений и для развлечений. Там бывали поэт и критик Аполлон Григорьев, знатный исполнитель народных песен и молодой сотрудник "Москвитянина" Филиппов, виртуозный гитарист Стахович, веселый рассказчик артист Садовский, автор уморительных рассказов, притчей, широко уже известный беллетрист Горбунов. В тесном общении с молодой редакцией "Москвитянина" были прекрасный музыкант и композитор Рубинштейн, профессор школы живописи, прославленный иллюстратор творений Гоголя Боклевский, автор знаменитых "Записок мелкотравчатого" Дрянский, уральский казак, написавший ряд очерков о народной, в частности, казачьей жизни, Железнов, поэт Мей и многие-многие другие.

"Мы еще не были заражены современной модной болезнью - ничему не удивляться, воспламенялись энтузиазмом в равной степени, как к красотам природы, так и к людям. Мы видели в них героев. Нам и в голову не приходило смеяться над товарищами и стыдиться самих себя за то, что ходили на Никитский бульвар любоваться, как гулял Гоголь", - писал об этих годах Максимов.

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
Кружок при журнале "Москвитянин" во многом способствовал воспитанию эстетического вкуса и демократических взглядов молодого студента.

Надежда поступить на филологический факультет все не оставляет Максимова, и в 1852 году он переезжает в Петербург.

Но и здесь удача ему не сопутствовала, а нужда снова загнала слушателем в медико-хирургическую академию. В Петербурге, по протекции московских друзей-литераторов он начинает сотрудничать в "Справочном энциклопедическом словаре", издание которого предпринял Альберт Викентьевич Старчевский и поместил в нем обстоятельный очерк о Владимире Дале. Этот очерк был первым литературным опытом Максимова, увидевшим свет в печати. Первые же беллетристические произведения он напечатал в журнале "Библиотека для чтения" Сенковского, который по существу вел все тот же Старчевский. Литературная карьера и началась у Максимова с очерка "Крестьянские посиделки в Костромской губернии", напечатанном в "Библиотеке для чтения".

Следом пишутся и печатаются очерки об отхожих промыслах, которыми извечно занимались земляки- парфентьевцы, об извозчиках, жоках медведей. Вот очерк-то о жокае медведя под названием "Сергач" и был замечен "самим!" И. С. Тургеневым, всегда с добрым чувством следившим за молодыми российскими дарованиями. Он пригласил к себе молодого писателя "из народа", обласкал его, ввел в литературные круги. "Ступайте в народ, внимательно наблюдайте, изучайте его на месте, запасайтесь свежим материалом. У вас хорошие задатки. Дорога перед вами открыта", - напутствовал молодого автора маститый писатель.

Максимов внял словам любимого писателя. Бросив учение в медико-хирургической академии, он летом того же года пешком отправился по Владимирской губернии, прошел по всем местам, где обитали "богомазы" иконописцы, офени - мелкие торговцы, и двинулся дальше, побывал на Волге, в Нижнем Новгороде, на знаменитой ярмарке, и пробрался даже в неведомую глушь Вятской губернии.

Материала, самого разнообразного, - о ярмарке, о деревенских знахарях, скупщиках льна, торговцах грибами, о кудесниках, пастухах, плотниках, пимокатах, ложечниках, отставных солдатах, и прочая, прочая - добыто было много.

Один за другим появляются рассказы Максимова, печатаются в журналах "Сын отечества", "Искра" и других. Читающая публика и критика отмечают новые мотивы народной жизни в творчестве молодого литератора, метко подмеченные черты простонародья. Не искусственно созданные "литературные типы", а живые мужики и бабы, мещане и горожане во плоти и крови ожили под пером Максимова.

"Эти рассказы из народного быта, - писал Пыпин, критик и общественный деятель, - были приветствованы как новая полоса литературных интересов, становящихся тогда (в исходе пятидесятых годов) все более и живыми общественными интересами..." "В его описаниях и рассказах всегда бросается в глаза какая-то родственность с тем народом, среди которого он вращался; этот народ он всегда чувствовал, обладал при этом особенным даром сходить к нему поближе, внушать к себе в большинстве случаев полное доверие и расположение..." "Этому способствовали и ровный, спокойный характер Максимова, его степенность, деловитость и в особенности удивительная мягкость, доброта, задушевность, простота и ласковое обращение..."

"Никогда я к ним (простолюдинам), - говорил Максимов, - не подлаживался, не подлизывался, не подпускал слащавости - терпеть этого мужик не может..."

Я оттого так подробно цитирую слова современников Максимова и самого писателя, что мы, нынешние русские писатели, как мне кажется, утратили естественные способы обращения с народом, с землей своей, бываем в народе гостями, выступающими, но еще чаще - "генералами на свадьбе".

Вспомнить творческие традиции, опыт писателей прошлого нам совсем нелишне и как раз ко времени.

Впрочем, свойства демократизации, как и самой жизни, имеют весьма причудливые формы и мотивы. Писатель Максимов начинает литературную деятельность и становится известным в весьма тревожное для России время - в разгар Крымской войны, в феврале 1855 года умирает самодержец всея Руси Николай I и передает престол Александру II с весьма несвойственными современным писателям

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
самокритичными словами: "Сдаю тебе свою команду не в порядке".

Государство Российское потрясено войной. После смерти императора даже в придворных кругах требуют крутых перемен. Великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал, председатель Русского географического общества, управляющий флотом и морским ведомством на правах министра, возглавляет либеральное направление в правительстве. Война обнажила слабость флота, его отсталую оснащенность по сравнению с англо-французским флотом. Надо было искать виноватых, срочно менять военную систему. По французскому образцу предлагалось зачислять на морскую службу жителей побережья. Секретарь Великого князя, редактор "Морского сборника" сын известного мореплавателя А. В. Головнин предложил начать исследование Поморья России и для изучения жизни тамошнего населения привлечь лучших писателей России.

Не было бы счастья, да несчастье помогло! Совсем еще недавно попечитель учебного округа Мусин-Пушкин, ведавший высшей цензурой и считавший лучшим аргументом кулаки, горячо ходатайствовавший о высылке непослушных авторов и редакторов в места как можно поотдаленней, имел в просьбах сих самое горячее одобрение. По делу Петрашевского только что подверглись преследованию более сотни передовых людей России и 21 человек, в том числе Федор Михайлович Достоевский, приговоренные к расстрелу, всемилоостивейше были "прощены" и отправлены на каторгу. Даже всеми почитаемый и на всю Европу известный Иван Сергеевич Тургенев успел посидеть в арестантской за строптивость свою...

И вот, как всегда в России, коли припекло, круто меняется отношение к интеллигенции. Еще вчера гонимые и презираемые высшим обществом писатели призываются к спасению Отечества, всячески поощряются в деяниях своих, и "Морской сборник" превращается в одну из главных трибун реформаторов, приобретает характер политического издания. На страницах его появляются статьи и очерки, не имеющие никакого отношения ни к морю, ни к морскому ведомству. Головнин настаивает на том, чтобы известные литераторы России отправлялись "в народ", на побережье, с выгодным содержанием и полными условиями для успешного творческого поиска.

В августе 1855 года великий князь Константин Николаевич обращается к директору департамента морского министерства князю Оболенскому с обстоятельным письмом, в котором содержится просьба о подыскании и привлечении творческих сил на исполнение важного государственного дела. В письме называются известные в то время писатели: Писемский, Потехин. Князь Оболенский обратился с просьбой и к издателям влиятельных журналов: Некрасову, Панаеву, Погодину, Шевыреву. Условия поездки были привлекательными – целый год выплачивалось литератору солидное содержание, полный доступ к губернским морским и этнографическим архивам, свободное передвижение по всем дорогам России.

"То, что еще так недавно считалось преступным и навлекало суровые кары, – писал в ту пору Пыпин, – как мысль об искоренении массы бюрократических злоупотреблений, опутавших русскую жизнь, об освобождении крепостного народа, о необходимости школы и так далее, – то стало обычной темой публицистики и общественного мнения. Если прежде искренняя речь о высококом значении народного начала для всей жизни государства, общества была невозможна (в смысле официальной народности она была только канцелярской формулой), или, по крайней мере, должна была закутываться в туманные фразы, то теперь она от частого повторения становилась, наконец, общим местом. Но народное дело все-таки делалось... О народе теперь представилась возможность говорить гораздо яснее, определеннее, правдивее и с достаточной полнотой".

А вот что об этом писал Максимов: "Правительство понуждалось в содействии тех общественных деятелей, которым уже давно присвоено было обществом не признанное и не утвержденное правительством звание литераторов, находившихся до той поры в сильном подозрении".

Не правда ли – в России все и всегда идет по единому кругу, и вот мысли и дела конца пятидесятых годов прошлого века явственно перекликаются с мыслями и делами конца нынешнего века, годов восьмидесятых.

Итак, экспедиция, не имевшая, да, кажется, и не имеющая ни в России, ни в мире примера, впоследствии поименованная "литературной", началась.

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
Островский поехал на Верхнюю Волгу, до Нижнего Новгорода, Потехин – на Среднюю Волгу – от устья Оки и до Саратова; Писемский дальше – до Астрахани; Афанасьев-Чужбинский отправляется по Днестру и Днепру; Михаил Михайлов – поэт и беллетрист, которому суждено будет умереть в страшных рудниках Сибири, в ссылке, – исследует родной Урал; Филиппов – Дон, а самый молодой из литераторов, включенных в экспедицию, двадцатичетырех-летний Максимов, не имевший еще ни одной книги, – едет на Север, к Белому морю.

Хотелось бы приостановить внимание на этом "факте". Ведь в наше время, когда общественность, и не только творческая, не знает, кого именовать "молодым" писателем, в Союз писателей близко не подпускают без двух-трех книг (случаи, когда двух рассказов, напечатанных в литинститутском, почти любительском сборнике, хватило, чтоб принять в Союз писателей Юрия Казакова, – не повторяются давно) факт этот сам по себе поучителен. Кстати, Юрий Казаков не раз бывал в тех же, что и Максимов, краях Беломорья, полюбил их и великолепно о них писал в рассказах и очерках, объединив "поморские" произведения в книге "Северный дневник". Оттуда же вышел ряд известных, ныне здравствующих писателей и критиков: Личутин, Маслов, Бондаренко, Поляков и другие. Но все же стоит обратить внимание и на возраст, и на положение литератора Максимова, которому была доверена столь почетная работа, которую так и подмывает поименовать высокопарно "миссия",

И Сергей Васильевич оправдал доверие, выполнил "миссию" с блеском, несмотря на массу трудностей, на незнакомой ему земле встретившихся, на сопротивление "материала" и свою молодость. Опыт хождения по центру России и характер человека, как уже говорилось в начале этого очерка, простого, незлобивога, обходительного, помогли ему в сложном творческом предприятии, да и сопроводительные бумаги способствовали тому.

Вот одна из них, подписанная управляющим морским министерством Ф. П. Врангелем, – "Вследствие изъявленного желания отправиться по поручению морского министерства обозреть жителей губернии и побережья моря, занимающихся рыболовством и судоходством, для составления по этому предмету статей в "Морской сборник", прошу вас обратить при сем особое внимание на: А. – их жилища, их промыслы, с показанием обстоятельств, благоприятствующих и мешающих развитию оных; В. – суда и разные судоходные орудия и средства, ими употребляемые, если возможно, их изображение на рисунке; С. физический их вид и состояние; Д. – преимущественно их нравы и обычаи, привычки и все особенности, резко отличающие их от прочих обитателей той же страны, как в нравственности, так и в промышленном отношении; а равно и в речи, поговорках и поверьях..."

"Морское начальство, не желая стеснять таланта, вполне предоставляет вам излагать ваше путешествие и результаты исследований в той форме и в тех размерах, которые вам покажутся наиболее удобными, ожидая от вашего пера произведения его достойного, как по содержанию и изложению, так и по объему".

Мое внимание невольно привлекли эти заключительные слова наставления морского российского начальства, которым, признаюсь, я с большой охотой последовал бы в своей творческой молодости. В ту пору охотно и со всех сторон пичкали речами о светлом будущем, подвергали сомнению слова "правда", "искренность" в литературе, говорили, что не всякая правда нужна народу, учили отличать идейное от неидейного, положительное от отрицательного, отечески советовали отражать борьбу хорошего с лучшим и отдавать предпочтение второму, потому как все остальное идет к нам от буржуазной идеологии, от пережитков прошлого и мешает наступательной поступи передового в мире общества к идеалам и неслыханным достижениям как в области хозяйской, так и сфере нравственности.

Молодой писатель Максимов получает, кроме наставительной бумаги, рекомендательные письма к архангельским губернским властям, денежное содержание, и за пять дней по малонаселенным, полубездорожным местам покрывает тысячекilометровый путь из Петербурга до Архангельска – скорее, скорее работать! Молодость, крепкое в ту пору здоровье, талант жаждут деятельности во имя и на пользу Отечества, взыскующего после длительного духовного застоя и тяжкого поражения в Крымской войне здоровой мысли, полезных деяний и обновления жизни.

Половину зимы молодой писатель занимается в архангельских архивах (в то время в состав нынешних Архангельской и Мурманской областей входила часть Коми АССР и Карельской АССР), много материалов скопилось в газетах и рукописях, в сведениях,

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevictor.ru присылаемых чиновниками, учителями, священниками, но книг, посвященных этому краю, написано было еще мало, так что в предстоящей работе над книгой о Севере Максиму надо было выработать свои правила, свою систему "отбора информации", как ныне принято говорить, но более всего полагаться на свои наблюдения и память, очень цепкую и глубокую.

Лед на реках сошел, потеплело, подсохло, и молодой писатель отправился в путь по Беломорью, где как, где на чем, от селения к селению.

Указ губернского правления, разосланный по уездам, о всяческом содействии уполномоченному морского министерства имел совсем не те последствия, на которые рассчитывали авторы его и сам путешественник. Его принимали с почтением, но и с большой осторожностью, как ревизора или фискала, боясь откровенностей, столь необходимых в общении в народе. Особенно скрытны были старообрядцы – значительная часть населения Беломорья.

Но по свидетельствам современников, Максимов никогда не позволял себе исполнять работу спустя рукава, и, имея уже опыт общения с народом, совсем не похожий по внешности на писателя, к тому же с бородой, где хитростью, где своим неиссякаемым обаянием, чуждый заносчивости, фарисейства, хвастовства, необычайно живой и остроумный собеседник, Максимов находит пути в дома и сердца уединенного и к его удивлению довольно грамотного, но суеверного народа. Цивилизованность и грамотность поморов, чувство красоты и воли, своеобразный и богатый язык – все-все это обогащало наблюдения молодого литератора, наполняло новизной мысли.

Набрав разгон, уже по своей воле и охоте, Максимов проехал по Белому морю до Ледовитого океана, побывал в тогдашней Лапландии, на Соловецких островах и добрался аж до реки Печоры, потратив на это путешествие четыре месяца, а на все предприятие – целый год.

Книга, им написанная, так и называется просто, доходчиво и объемно: "Год на Севере".

Появившаяся в 1859 году, она имела большой успех. Ее читали нарасхват, Максимов становится популярным писателем. Русское географическое общество удостоило книгу "Год на Севере" Малой золотой медали, все прогрессивные журналы высоко оценили ее. Великий князь Константин Николаевич, пригласив Максимова к себе на завтрак, подробно расспрашивал его о путешествии, и результатом этого завтрака и разговора явилось новое поручение писателю поездка на Дальний Восток для исследования только что присоединенного к великой державе Амура, способы колонизации которого вызвали резкую полемику в печати.

Результатом же поездки на Амур явилась книга Максимова "На Востоке. Поездка на Амур". Кроме того, в конце пятидесятых начале шестидесятых годов им написаны очерки "В дороге", "чайная торговля", "О народной грамотности" "Сказание о сидении донских казаков в Азове", "Авраамов монастырь в городке Чухлома" и многие другие.

Некоторые очерки Максимова напечатаны в журнале "Искра", редактором которого был его друг Василий Курочкин – поэт, переводчик стихов Беранже, прошедший тяжкую дорогу российского литератора и много сделавший для отечественной словесности – и своим пером, и деятельностью на посту редактора популярного в ту пору журнала.

К началу шестидесятых годов относятся статьи и рассказы Максимова из истории русского раскола: "История о взятии Соловецкого монастыря", "Два послания протопопа Аввакума", "Житие старца Корнилия", "Патриарх Никон".

Работоспособность молодого писателя, жадность деятельности, любознательность, творческая страсть и неудержимая тяга к путешествиям и изучению отечества своего – поистине редкостны, и послужить бы им примером для нынешних, малоподвижных, нелюбопытных литераторов российских. Ему пора возвращаться с Востока домой с кучей материалов, наблюдений и впечатлений, но он принимает предложение обследовать тюрьмы, каторги и быт ссыльнопоселенцев в Сибири. Поручение сложное, объемное, одному человеку почти непосильное, однако Максимов блестяще справляется с задачей, собирает огромный материал и пишет книгу "Тюрьма и ссыльные", которая хотя и была строго документальная, без обобщений и умышленных добавлений "от себя", показала, тем не менее, опасной для опубликования, и морское министерство опубликовало ее "секретно" и очень малым тиражом. И в журналах

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
щепетильный материал тоже не проходил. И только спустя годы появляются обстоятельные описания "мест отдаленных", рассказы о "Мертвом доме".

Писатель, широко уже известный читающей публике, поедет еще на Урал и на Каспийское море. Затем он объедет Белоруссию, часть Литвы, Псковскую, Смоленскую, Виленскую, Гродненскую губернии, и, обогатившись новыми наблюдениями, создаст новые произведения.

Тем временем изменилось направление "Морского сборника". Новый его редактор исключил вообще литературный отдел из этого издания. И Максимов принужден стучаться в двери "Отечественных записок", в "Дело", в "Семью и школу".

Какое-то время Максимов редактировал книжки для народного чтения, занимался делом, совершенно новым в России и трудным. Он и сам написал для этого издания, предпринятого министерством просвещения, до двух десятков книжек: "Край крещеного света", "Святые места русской земли", "Степи", "Дремучие леса" и другие, очень дорожил ими и некоторые из них неоднократно переиздавал.

Постепенно Максимов утрачивает рвение к скитальчеству, да и здоровье его к сорока годам уже заметно было подорвано дорожными лишениями и неудобствами, а громадный собранный материал требовал оседлой, усидчивой работы.

С 1866 года в "Вестнике Европы" печатаются его статьи и очерки о "Стране изгнания" – Сибири, о каторге, о деле петрашевцев, творчески освоены, изучены им записки декабристов. Бдительная цензура корнала и "кастрировала" произведения Максимова, но и в урезанном виде они вызвали огромное любопытство в обществе, читались с захватывающим интересом.

В 1871 году появляется труд Максимова в трех томах под названием "Сибирь и каторга", имеющий бесценное историческое значение. Написанная талантливо, являя собой не только социальное значение, "Сибирь и каторга" поведала о муках и страданиях пламенных борцов государства российского, жаждущих коренного обновления жизни своей родины и в большинстве своем павших в борьбе за лучшую долю.

"Слова и иллюзии гибнут, факты остаются", – сказал молодой и талантливый критик Писарев. Вот почему труд Максимова, которым он и сам гордился, не забыт до сих пор и служит верно и неизменно историкам, исследователям, да и читателям, пусть и неширокого круга.

И все-таки, несмотря на широкую известность, непрерывное печатание статей, очерков в газетах и журналах, застенчивый до удивления и скромный писатель не может свести концы с концами и содержать свою довольно уже большую семью на свои гонорары. Он ищет службу, чтобы иметь постоянный твердый заработок, и по протекции своих литературных друзей становится редактором "Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства", где и прослужил тридцать лет, не зная ни дня, ни ночи, и постепенно, помимо "модной" болезни интеллигенции той поры – чахотки, заболевает и чисто русским, злым недугом – пьет горькую.

Ну и как все пьющие, добродушные характером люди, Максимов, по его выражению, любил во хмелю "пошебаршить" – выразаться, причем ругательства у него сыпались безо всякой причины и злобы, от вечного нашего национального ухарства.

Василий Курочкин вспоминал, что изумительный рассказчик, друг его Максимов, без труда овладевал в разговорах любой компанией: никогда не повторялся, великолепно владел юмором и сам простодушно смеялся со своими слушателями, но, замолкнув на полуслове, мог он совершенно неожиданно для всех уснуть "каменным сном", а, поспавши немного, был снова весел, насмешлив и светел умом.

Однажды он уснул за банкетным столом – а уж тогда явилась в Россию мода устраивать пир по случаю юбилея знаменитого писателя или обыкновенного, ничем и нигде себя не проявившего человека. Словолюбие, как и в наши времена, не знало удержу. На этот раз чествовали какого-то малоизвестного редактора третьестепенной либеральной газеты, и не столько уж его прославляли, сколько либерализм. Однако, редактор под воздействием речей и спичей уже начал верить в свою исключительность, хотя на "золотник" правды приходились "пуды" пустых комплиментов. И вот когда празднество набрало силу и мощь, шампанское лилось рекой, проснулся Максимов и говорит во всеулышание юбиляру: "И ты веришь, что

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
тебе говорят правду?! Неужели ты так глуп?"

В редакции "Ведомостей" помощников у Максимова почти не было, и он иногда там задерживался до глубокой ночи, когда и до утра, приходил домой под хмельком, с какими-то случайными собутыльниками, и утром сам не мог вспомнить, как оказался сей гость в его кабинете. Конечно же, семья тяготилась дурными склонностями и привычками главы дома, который не покидала гнетущая нужда. И хотя к той поре Максимов уже был довольно известным литератором, за год до смерти был избран почетным академиком по отделению русского языка и словесности Российской Академии наук, не раз и не два сживал он на петербургской гауптвахте, где довелось побывать и подумать "о своем поведении" не одному российскому литератору. По сию пору не забыто, как молодой Лермонтов, сидючи на гауптвахте, может быть, на той же, что и Максимов, дерзко сочинительствовал, а убитая горем бабушка кормила баловня-внука не с тюремного, но непременно со своего стола, и домашние повара привозили обожаемому внуку уху из свежей стерляди, сваренную на шампанском, ростбифы, сладости. Стихи великого поэта от этого, однако, не делались сладкими, не то что в наше время – порою на одной картошке сидит поэт, а таким ли соловьем заливается, так ли восторженно славит жизнь, жену свою, дочку да березку под окном, что и удивляться только остается этакой сладкозвучно-сти "лиры".

В очередной раз на "губу" Максимов угодил за то, что объявил в своем издании панихиду по императору Александру III, который благополучно здравствовал, а надо было поминать в Бозе почившего Александра II, большими неприятностями могло это кончиться для небдительного редактора и его семьи, если бы влиятельные друзья не заступились за него.

Продолжая служить и "шебаршить", Максимов не прекращал литературной деятельности. Он пишет воспоминания о поэте Мее, Островском, о декабристах Дмитрие Иринарховиче Завалишине и о Николае Александровиче Бестужеве.

В то же время начинается увлекательный труд над "Крылатыми словами", которые первоначально печатались в журнале под названием "Неспуста слово молвится". Будучи глубоким знатоком родного языка, его ревностным охранителем, Максимов с упоением работает на будущее российской словесности.

По утверждению нашего современника, литературоведа и прозаика Сергея Плеханова, труды его, в том числе "Крылатые слова", это "настоящее противоядие от языкового бескультурья".

Тонко и глубоко понимающий родной язык, почерпнувший знания его не в одних только книгах, а в странствиях, на ярмарках, в заезжих домах, в юртах и станах кочевников, поморов, бывши участником многих исторических событий, Максимов не без оснований утверждает: "Ломало народ наш всякое горе, ломает оно и теперь, подчас крепко больно, а все же в нем еще много сил, и хватает их настолько, чтобы быть воистине великим народом".

Откровения подобного рода у нас и донныне не прощаются, немедленно зачисляют за них в шовинисты. Попадало писателю-этнографу и тогда за сермяжность, "засорение" литературного языка и прочие, так хорошо известные всякому русскому литератору грехи, Максимов хотя и тих был нравом, скромн до застенчивости, однако в работе настойчив, упрям, и продолжал упорно бороться за чистоту русского языка.

Думается, переиздание книги "Крылатые слова" в годы возрождения гражданской и национальной активности русского народа, во время, когда обюрокрачивание общества "ржавчиной" казенных словесных трюков и вывертов изрядно поразило и подточило чистый исток родного языка, опростило его новомодными словесами иностранного толка, блатным жаргоном, газетной и докладной трескотней, издание это не только полезно, но и весьма своевременно, как своевременно и возвращение к читателю самого писателя-этнографа Сергея Васильевича Максимова, почти забытого нашим "самым лучшим в мире" читателем. Впрочем, чего тут удивляться! Коли читатель наш мало знает или вовсе не знает писателей, которые бы сделали честь любой просвещенной европейской стране: Салтыкова-Щедрина, Лескова, Короленко, Писемского, Андреева, Гаршина, Мамина-Сибиряка, обоих Успенских, Курочкина, Златовратского, Помяловского и многих-многих других.

Перед тем как уйти в мир иной, никогда не заботившийся о своем здоровье и благосостоянии, Сергей Васильевич по настоянию и с помощью друзей, известных

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru писателей и поэтов Григоровича, Плещеева, Потехина, Вейнберга, которые не оставляли его и во дни тяжелой службы в полицейских "Ведомостях", понимая, что не место красит человека, но наоборот, зная о том, что с помощью этого самого "органа" честный и добрый человек Максимов много сделал для попечения больных и бедных, искалеченных на войне и потерявших здоровье на службе людей, отправляется в Крым для лечения горловой чахотки, принимающей угрожающие формы.

Объездивший страну от северного Поморья до Каспийского моря и Тихого океана, неутомимый человек сделал крюк и заехал к своему брату, Василию Васильевичу, хирургу и профессору Варшавского университета.

В Варшаве Сергею Васильевичу стало совсем плохо. Брат делает ему блестящую операцию трахитомии и тем продляет на недолгое время жизнь писателя.

Вернувшись в Петербург, Сергей Васильевич Максимов слег окончательно ослабело и сердце.

3-го июня 1901 года он скончался.

В летнюю душную пору в Петербурге почти не оставалось почтенной публики и за гробом известного писателя Максимова до Волкова кладбища следовала довольно реденькая процессия. Но литературная общественность широко откликнулась на невозполнимую утрату. Появились некрологи в разных изданиях, подписанные Толстым, Чеховым и многими другими знаменитыми русскими писателями.

"Драгоценное свойство господина Максимова, - писал Салтыков-Щедрин, заключается в его близком знакомстве с народом и его материальной и духовной обстановкой. В этом смысле рассказы его должны быть настольной книгой для всех исследователей русской народности".

Вскоре после кончины писателя Максимов товарищество "Просвещение" предприняло издание собрания его сочинений во "Всемирной библиотеке" и выпустило двадцать томов подлинной "энциклопедии народной жизни", хотя и в двадцать томов уместилось далеко не все написанное великим тружеником и глубочайшим знатоком жизни своей страны и народа.

Но затем происходит то огорчительно-обидное, даже горькое для нашей отечественной культуры и народа явление, которое называется печальным русским словом - забвение. На много лет, на целые десятилетия драгоценное наследство писателя Максимова утрачивается народом, являясь лишь вспомоществованием в трудах ученых-словесников и "подкормкой" для богатых компиляций ловких людей, всегда густо обретающихся возле русской словесности.

"У Максимова нет последователей, и теперь в таком роде уже никто не пишет, - еще в 1907 году горько сетовал один из современников писателя. - С ним, Максимовым, последним представителем бытописательной литературы, кажется, вымирает и самый бытописательный жанр", - и далее: - "Есть что-то грустное в обезличивании народов, в том умирании индивидуальности, которая зовется цивилизацией. Но покамест нам еще дорого наше родное, Россия будет дорожить памятью писателя, который так много посвятил труда и таланта на ее изучение, особенно сумев запечатлеть в своих произведениях поэзию народных верований и русской родной жизни".

В России, как я уже писал в начале этого очерка, все идет по кругу. И вот наступило время, когда всем нам "приспичило" подумать: кто мы и откуда взялись? Наступила пора вспомнить о наших сугубо национальных делах, заново взяться за книги и труды тех, кто радел за отечество свое и, положив живот за него, успел походить и в реакционерах, и в пропагандистах проклятого прошлого. Даже такой гений, как Федор Михайлович Достоевский, побывал в оных, Пушкин печатался избирательно, так что уж говорить о "глашатаях" крестьянской старины - Есенине, Клюеве, Мельникове-Печерском или о том же Максимове.

Отечеству и народу нашему дана одна очень устойчивая особенность прозревать через беды и воскрешать самосознание с помощью родной великой культуры, когда "подходит край", когда мы зримо скатываемся к одичанию.

Так было в двадцатых, сороковых и пятидесятых годах нашего столетия, и ныне мы расхлебываем кашу духовного застоя и глубокого кризиса во всех сферах жизни.

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
Приступила, и вплотную, пора вспомнить о духовном и культурном наследстве России – одна за другой издаются и выпускаются библиотеки, не только всегда "действующих" классиков, но и полузабытых или вовсе забытых радетелей русской культуры.

В Новосибирске вышел уже седьмой том "Литературного наследства Сибири". Стараниями и подвижничеством неутомимого человека Николая Николаевича Яновского и его сотоварищей-сибиряков Отечеству нашему возвращены и пущены в культурный обиход многие славные имена русских мыслителей, культурных деятелей, писателей и ученых: Г. Н. Потанина, В. Я. Зазубрина, М. К. Азадовского, А. Н. Сорокина, Г. Г. Гребенщикова, П. П. Петрова и многих-многих других.

В Иркутске одновременно осуществляется издание библиотек "Литературные памятники Сибири", "Сибирь и декабристы", "Полярная звезда". Здесь же, в Сибири, была в свое время предпринята и осуществлена попытка издания "Библиотеки сибирского романа", куда вошли книги и старых, полузабытых русских писателей. Правда, пухлая эта библиотека слишком загромождена толстыми современными романами "обязательного порядка", т.е., теми, которые издавались по указанию сверху. Перегруженная "правильными", но серыми произведениями, библиотека не имела того значения, на которое вправе были рассчитывать издатели. Ныне в Иркутске выпущен уже третий том "Сибирской библиотеки для детей и юношества", рассчитанный на десятилетие, в течение которого выйдет 25 томов книг, состоящих преимущественно из произведений писателей-сибиряков.

Приходит пора и Максимова, вот что сообщает из Подмосковья много занимающийся наследием Сергея Васильевича Максимова, написавший о нем роман "Охота за словом" Сергей Плеханов: "к 150-летию я подготовил "Избранное" Максимова, в 1982 году – "Куль хлеба", в 1984 году – "Год на Севере"; готов к изданию сборник "По русской земле". Пытался пробить в Иркутске, в "Лит. памятниках", "Сибирь и каторгу" – но безуспешно. В Ярославле отвергли идею издания "Лесной глуши". Белорусы ("Мастацкая литература") схватились было за предложение выпустить "Обитель и житель", но потом написали, что Максимов – реакционный (?!) и потому изданию не подлежит..."

Уже в момент написания этого очерка я наткнулся на любопытное известие: в No 8 за 1986 год журнала "Наш современник" сообщается, что состоялась встреча с работниками и авторским активом "Морского сборника". Да, да, того самого!

Вот что написано в информации по этому поводу: "На журнальной полке, наверное, трудно найти второго такого "долгожителя" (даже "Вокруг света" почти на полтора десятилетия моложе). Многие и многие его собратья "юноши", если сравнить их по возрасту. С 1848 года издается журнал. И ни разу за всю историю он не огорчил читателя: не было случая, чтобы не вышла очередная, из месяца в месяц, книжка журнала. Его публикации высоко ценили Н. Г. Чернышевский и Н. В. Добролюбов. На страницах журнала выступали: Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров с циклом путевых очерков "Фрегат "Паллада", К. М. Станюкович с повестью "Вокруг света на "Коршуне", видные флотоводцы и ученые, среди них вице-адмирал С. О. Макаров и академик Н. А. Крылов. Да, мы говорим о "Морском сборнике" – ежемесячном журнале Военно-Морского флота Советского Союза. В наши дни здесь печатаются военно-теоретические и прикладные статьи, материалы по истории флота, публицистические выступления, рассказы о матросской аудитории: моряках, ученых, судостроителях, людях многих профессий. Интерес к журналу велик не только в нашей стране, но и в доброй полсотне стран мира. Его читают, изучают, переводят..."

Очень хорошо, что сохранился журнал, сыгравший в свое время такую большую роль в прогрессивном возрождении России, объединивший талантливых русских писателей, давший направление передовой общественной мысли второй половины прошлого века, сблизил с российским простолюдьем наиболее талантливых литераторов, на долгие годы приохотил их к этнографическим поискам в родном отечестве, среди родного народа и тем самым содействовал сближению литературы с жизнью, с языком истинно народным. Наша отечественная история была бы неполной, если бы мы забыли о роли "Морского сборника" в возрождении России, какая неполная была она, когда искажались и выкорчевывались целые отрезки времени в истории нашей, замалчивались важные события и явления, надолго исключались из обихода целые литературные направления и объединения.

Когда не издается Бунин и забываются Гумилев, Павел Васильев, Борис Корнилов,

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
Клюев, Замятин, Зазубрин, Северянин, Шмелев, Слепцов, Решетников, когда шельмуется волшебница стиха Ахматова, когда великий Есенин переходит почти в "подпольные", с помощью школьных альбомчиков и блатных глоток распространяемых поэтов, их места занимают десятки угодливых, в литературе случайных людей, пытающихся "стянуть" мысль и слово до своего уровня, и сделать литературу себе подобной.

Потоки серой литературы, кризисные застои в творчестве сделались возможными только потому, что истинно талантливое заменялось далекой от нужд и требований народа писчебумажной продукцией типа "Наша родина прекрасна и цветет, как маков цвет, а кроме явлений счастья никаких явлений нет..."

Встряхнулись, огляделись, пора и делом заняться, очень трудным, восстановительным во всех сферах жизни и прежде всего духовной, ибо безмыслие приводит к забвению, равнодушию, ожирению ума, к нравственному оскудению общества. Надо воскрешать в памяти народной все то лучшее и истинное, что было свойственно истории нашей и литературе.

Сергей Васильевич Максимов – радатель слова русского, так много сделавший для своего народа, должен с полным правом и достоинством занять принадлежащее ему и никому другому место в отечественной культуре. Он его заслужил и заработал многолетним, тяжким и, не побоюсь громкого слова, неистовым трудом.

1987

И все цветы живые

О Константине Воробьеве

Судьбы человеческие, они – каждая сама по себе, хотя живем мы вроде бы сообща, и все у нас должно быть общим. Судьбы писательские и вовсе прихотливы. На моем веку произошло немало блистательных, шумных восхождений на вершины, где уж одно только сияние, благоухание, восхищение, поклонение, и вершина эта оказывается столь заманчивая и удобная, что сиднем сидит на ней обласканное новоявленное творческое диво и совсем уж не видит, что делается вокруг, в особенности у подножия вершины – кто там копошится, зачем копошится и куда это все спешат, на работу, что ли?

Однако есть писатели, напоминающие мне старательного и умного пахаря, который встает до зари и без шума, гама, показательной активности и молодецкой стати делает свою трудную работу, зарабатывает свой хлеб.

Но случалось, как это ни горько признать, и поныне случается, что судьба такого вот скромного труженика не только в повседневной сложной жизни, но и в литературе проходит незамеченной не только при жизни, но даже и после смерти – и это вроде бы при всеобщем-то заинтересованном внимании к современным нашим творцам?!

Такой вот укорный пример нашему творческому коллективу и многохваленому читателю – судьба писателя Константина Воробьева, которого граждане наши, даже много и внимательно читающие современную литературу, по сию пору путают со всеми Воробьевыми, кои были и есть в литературе (а их и сейчас там до десятка), но чаще всего и совсем не знают. Упомянешь его на встрече, назовешь в числе выдающихся русских советских писателей недоумевают читатели, пожимают плечами или изумленно спросят: "Да уж не тот ли это Воробьев, что написал "Убиты под Москвой", "Крик" и еще что-то?" "Тот, тот!" – скажешь, и непременно последует: "Это ж замечательные вещи!"

Вот так: знают книги, знают повести, но не знают автора! Тоже феномен читательский, тоже загадка, и загадка тем удивительней, что не только читатели, но и многие, так сказать, "собраты по перу", "работники одного цеха" мало или совсем не знают творчества Константина Воробьева. Однако не было еще случая, чтоб, отрекомендовав кому-то книги моего, ныне уже покойного, товарища и собрата по войне и работе, я услышал бы: "не понравилось", "не показалось". Наоборот: всегда письменно или устно благодарили меня читатели за то, что открыл "замечательного художника, к стыду моему, как-то пропущенного..."

Печататься Константин Воробьев начал в середине пятидесятых годов, сперва в

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
провинции, затем в Москве, и не где-нибудь, а в "Новом мире", где появиться в ту пору мог писатель не просто сложившийся, но и владеющий "крепким пером".

Он долго и трудно шел в литературу, его рукописи громили московские рецензенты в журналах и издательствах, громили беспощадно, изничтожающе, я потом узнал их, этих "закрытых" рецензентов, - громили они и меня, и в конце концов убедился, что это в большинстве своем несостоявшиеся писатели-теоретики, все и вся знающие про литературу, но не имеющие писательского дара.

Чтобы существовать самим в литературе, кормиться - им надо было оборонять себя и свое утепленное место и в первую очередь обороняться от периферийной "орды", от этих неуклюжих, порой угловатых и малограмотных, но самостоятельных и упорных, жизнь повидавших мужиков. Имеющие за плечами институтское или университетское образование, они какое-то время успешно справлялись с нашим братом, сдерживали на "запасных позициях", но когда их "скрытая оборона" была прорвана, они взялись трепать нас печатно, и доставалось нам все больше за "натуралистическое видение жизни", за "искажение положительного образа", за "пацифизм", за "дегероизацию", за "окопную правду", которую один и ныне процветающий писатель назвал "кочкой зрения", хотя сам "воевал", между прочим, в армейской газете и что такое окопы, представлял больше по кино, да и самое войну наблюдал издаലെка.

В особенности досталось за "окопную правду", за "натуралистическое" изображение войны и за искажение "образа советского воина" писателю Константину Воробьеву.

Но у периферийных писателей той поры, в первую голову у бывших воинов, - доподлинных фронтовиков-окопников - в конце концов образовалось своего рода товарищество, которое, как правило, начиналось с переписки, с заочного знакомства.

И мы прекрасно понимали и были единодушны в том, что когда читателя долго кормят словесной мякиной, пусть она, мякина, и о войне, у него, у читателя, появляется голодная тупость и малокровный шум и звон в голове.

Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне. (К. Воробьев уверял меня в том же.) Да и в самом деле: как иначе-то думать, если вот под песню "Клен зеленый" воют летчики, даже не воют, а выступают на войне: "Парни brave, brave, brave, brave!.." И так вот красиво выражаются: "Война дело временное, музыка - вечна!" И-и... взмах руки: "Кле-он кудр-рявый!.." - летят вверх эшелоны, цистерны, - "р-рас-кудр-рявый!" - и лупит в хвост удирающему фрицу краснозвездочный сокол, аж из того сажа и клочья летят! Еще раз: - "Раскудр-рявый!.." - и в землю врезается бомбовоз, разбегаются ошеломленные враги, все горит, все бежит - и как-то в кинотеатре я тоже заподпрыгивал на сиденье, и в ладоши захлопал вместе с ребятишками школьного возраста - до того мне поглянулась такая разудалая война.

Или вот еще: смертельно раненная девица поет романс: "Ах, не любил он, нет, не любил он..." - и палит из автомата по врагам, палит так много, что уж в рожке немецкого автомата не сорок, а вся тыща патронов должна быть это она, под романс-то, "красивая и молодая" заманивает фашистов в темь леса, на неминуемую гибель. А там, на некиношной-то войне, на настоящей, дяди баскетбольного роста, как штангист Алексеев телосложением, раненные в живот (редко кто с этим ранением выживал), криком кричали "маму", и уж срамотища сплошная - доходило до того, что просили, умоляли: "Добейте, братцы!.."

Конечно, при подобном, до конца так и не избытом "творческом климате" и чудесах искусства и литературы писателям вроде Константина Воробьева было тяжело жить и работать.

Повторяю: у даровитого человека судьба была, есть и будет отдельная. У да-ро-ви-то-го! Возьму на себя смелость заявить, что у Константина Воробьева не только жизнь, но и творческая судьба была не просто отдельной, но исключительной!

Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и неширокое, но стойкое, приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
"противника". Об этом непрестом и нелегком становлении тогдашней молодой литературы даже нынешняя, вроде бы все знающая критика помалкивает, а стоило бы ей вместо того, чтобы перемалывать молотое, хвалить хвалимое, поинтересоваться архивами хотя бы того же Константина Воробьева и почитать ответы из столичных изданий – удивительные бы документы они для себя открыли!

Но чем периферийщиков больше игнорировали, оттирали и унижали, тем они жадней и привязчивой следили друг за другом и, прежде чем пожать руку собрата по войне, зачастую уже досконально знали его творчество, вступали в переписку, поддерживали, как могли, иногда и печатно. Но и требовали друг от друга будь здоров, ибо хорошо знали: чтоб нам утвердиться и устоять в литературе, нужно работать в десять, в сто раз больше тех, кто учился, самоусовершенствовался, наполнял свой культурный уровень в ту пору, когда мы дрогли в военных окопах, потом боролись с разрухой и нуждой.

Для меня был и остался до сих пор главным судьей в литературе мой лучший друг Евгений Носов, с которым мы познакомились и сошлись в Москве на Высших литературных курсах. Если мой рассказ или повесть "показались" Носову, он признал и принял новую вещь – можешь тогда смело тащить ее в любой журнал, в любое издательство. Нежный, внимательный, добрый человек, он становится совершенно беспощадным, когда дело доходит до творчества, и требует с тебя так же, как и с себя, ибо по себе знает: чтобы выбиться в люди нам, много недобравшим в образовании, надо работать. Нам надо писать и отделять свои произведения так, чтобы никаких там "прений" не было насчет "качества продукции", чтобы редакторы и другие деятели литературы морщились, называли нас "густопсовыми реалистами", но отправляли бы рукопись в набор, потому что деваться-то некуда. Не надо забывать и такой фактор: в пору нашего становления как литераторов умами повсюду властвовала так называемая "исповедальная" литература, против которой я лично ничего не имею – она хотя бы уже тем полезна, что вызвала ответную реакцию и ускорила приход литературы иной, так называемой "деревенской прозы". От нас в ту пору никто не взял бы в печать произведения, написанного на уровне: "он сказал, она сказала". И по сей час никто таких от нас не возьмет. Но уже по другим причинам, по причинам высокой требовательности, утверждению которой в немалой степени способствовало военное поколение писателей.

Нам приходилось и приходится работать так же, как на войне, – все лучше и лучше. Иначе не победить. Иначе пострадает наше достоинство, будет принижено значение современной отечественной литературы.

Это я сделал такое, пусть слегка и патетическое отступление прежде всего для нынешних молодых литераторов, которые, как мне сдается и видится, думают, что мы, военное поколение писателей, вошли в послевоенную литературу под духовой оркестр, молодецким дружным строем.

Творческая судьба Константина Воробьева – наглядное подтверждение тому, как ему, да и всем нам, далась эта самая литература и то положение, которое мы по справедливости в ней занимаем.

После того как критик Гр. Бровман навалился на Константина Воробьева и начал прорабатывать его при появлении любого его рассказа, любой повести будто за углом с топором стоял и караулил! – за те самые грехи, что я перечислил выше, мне пришлось вступить за фронтовика- писателя, и я чуть ли не впервые попробовал себя в критике, написал статью в газету "Литература и жизнь" (ныне "Литературная Россия") под названием: "Яростно и ярко".

Позволю себе для подтверждения моих высказываний ту маленькую статью привести здесь целиком, думаю, она убедительней, чем нынешние мои слова, развеет у доверчивого нашего читателя мнение, будто перед нами, писателями военного поколения, расстились ковровые дорожки.

"Бывает так: читаешь рассказ или повесть, и все время чудится тебе человек, который по лености или недомыслию не запасся на ночь дровами. И сидит он, бедный, один в ненастную ночь, скучно коротает ее при чуть теплящемся огоньке – как уж совсем замирать огонек начнет, он палочку подбросит, потом еще, потом еще...

А есть писатели другого склада. Они, не жалея, валят в костер весь свой запас,

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
всю свою энергию, и сердце тоже, не поджигая огонь скупыми порциями хвороста.
Чтоб горело. Чтоб ярко было!

Вот за это яркое, порой стихийное горение мне нравится писатель Константин Воробьев, человек самобытного таланта.

Критикой К. Воробьев совсем не избалован. Более того, две его повести: "Крик" и "Убиты под Москвой", напечатанные – одна в "Неве", а другая – в "Новом мире", – как только появились, были раскритикованы. А наиболее значительная повесть: "Сказание о моем ровеснике" (в журнале "Молодая гвардия" у него было лучшее, на мой взгляд, название – "Алексей, сын Алексея") – осталась вообще незамеченной.

Самой "отторженной" оказалась повесть К. Воробьева "Убиты под Москвой".

Итак "Убиты под Москвой". Кто? Рота.

И не просто рота, а рота кремлевских курсантов. И оттого, что она не просто рота, трагедия ее по-особому страшная, и хочется кричать от боли. В иных местах, читая повесть, хочется загородить собою этих молодых ребят, вооруженных "новейшими" винтовками СВТ, которые годны были лишь для парадов, и остановить самих курсантов, идущих на позиции с парадным, шапкозакидательским настроением.

Курсанты окапываются, ждут боя, фашистов, а дожидаются... отступающих наших солдат, растерзанных страхом. Курсанты стали презирать, ненавидеть за трусость этих солдат, особенно их генерала.

А к вечеру капитан Рюмин, командир курсантской роты, выясняет, что они уже окружены, их уже обошли, и окапывались они зря, и ждали зря, и никакого планомерно рассчитанного боя не будет. Им просто-напросто надо выходить из окружения и пробиваться к своим.

Чтобы не убить веру в свою силу у этих парней, необстрелянных, но действительно преданных Родине до последней кровинки, капитан Рюмин решает дать им возможность "не просто так" отступить, а с победой.

Курсанты ночью атакуют впереди лежащее село, занятое гитлеровцами, которые до того "охамели", – как говорит лейтенант Гуляев, – что спят в кальсонах".

И вот ночной бой, жестокий, сокрушительный.

Потом, после боя, лейтенант Алексей сходит посмотреть на застреленного и додушенного им врага.

"Немец лежал в прежней позе – без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе, "по-живому" прилегли к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора".

Так о бое может писать человек, только сам хлебнувший окопной жизни, горя, крови и слез. И напрасно критик Р. Бровман обвинял К. Воробьева в натурализме, пацифистском духе и других грехах.

Воробьев начал войну рядовым необстрелянным бойцом, каких и описал в повести "Убиты под Москвой", закончил ее командиром отдельной партизанской группы в Литве, изведав унижение и боль окруженца, а после – и долгожданную, выстраданную радость победы.

А что касаясь натурализма, то я могу, как бывший окопник, сказать, что не знаю ничего страшнее и натуралистичнее войны, где люди убивают людей. И коли К. Воробьев, все испытавший на войне, не умеет рядить ее в кому-то нравящиеся романтические одежды, значит, иначе не может. Он пишет, страдая за людей, без расчета кому-то понравиться и угодить. В том его сила!

Вернусь к повести, хотя, откровенно говоря, мне бы хотелось кончить читать повесть и говорить о ней на том месте, когда наши "долбанули" фашистов, и затопать бы ногами, как до войны в темном зале кино, и закричать от восторга,

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
видя, как краснозвездные танки гонятся за толпой врагов и те, рассеянные, с вытаращенными глазами, в панике валяются и поднимают руки вверх.

Но это там, в довоенном кино. А здесь немецкие самолеты наутро загнали дерзкую роту курсантов в сосновую рощу и завалили бомбами. Курсантов просто уничтожили, их закопали, сожгли заживо вместе с лесом.

Повесть "Убиты под Москвой" не прочтешь просто так, на сон грядущий, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки, хочется единственного: чтоб никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами, погибшими после бесславного судорожного боя, в нелепом одиночестве под Москвой.

Повторяю, это не самая лучшая повесть К. Воробьева, и остановился я на ней подробно только потому, что уважаемый критик категорически "зачеркнул" ее. Лучшими представляются мне повести "Сказание о моем ровеснике" и "Крик", тоже очень эмоциональная, написанная на одном, "верхнем" дыхании. Что же касается самой большой в книге повести - "Почем в Ракитном радости", то она местами сбивается на авторское кокетство, совершенно чуждое суровому и достоверному перу К. Воробьева, и оттого впечатление от нее какое-то лоскутное. Местами она превосходна, искренна до предела, и тут же рядом в ней присутствуют назидательность, резонерство и литературщина.

Мне думается, что этой повести, как и некоторым рассказам К. Воробьева, вредят известная заданность и та самая, никому не нужная расчетливость, когда сидящий у костра человек соображает: подложить ли ему еще палочку в костер.

Константин Воробьев силен там, где он пишет, точнее, живописует свободно, давая себе и своему воображению полный простор, а языку, кстати говоря, отличному, богатейшему оттенками и красками русскому языку, полное дыхание, как на ветру, напоенному запахами родной ему курской земли, русских полей и садов.

И тогда огонь, зажженный им, горит во всю мочь, яростно и ярко".

Статья эта написана и напечатана в 1965 году, и она избавляет меня от ненужных повторений, да и петушистость ее мне как-то все еще по нраву, ныне бы я так не сумел написать, призвал бы себя к сдержанности и теоретизировать бы взялся. Кроме того, в этой статье изложено содержание одной из лучших повестей о войне, и не только у Константина Воробьева, но и во всей нашей литературе, что теперь общепризнано, и слова мои: "Это не самая лучшая повесть К. Воробьева" я после повторного прочтения повести беру назад, и, надеюсь, читатели простят мне этот грех и некоторую менторскую назидательность в конце статьи - это мне хотелось выглядеть "солидно", не "отставать от тенденций времени". Словом, все это - издержки молодости. Литературной.

А теперь самая пора рассказать подробнее о самом Константине Воробьеве - когда еще доведется писать о покойном товарище, не знаю.

У меня хранится книга повестей и рассказов Константина Воробьева с его дарственной надписью, изданная в 1964 году "Советской Россией", и в книге этой оказалась вырезанная мной из журнала "Смена" редакционная заметка с портретом молодого, не просто красивого, а какого-то яркого юноши с темной прической (она окажется рыжеватой), тоненького, изящного, даже в чем-то интеллигентного (он, кстати, окажется высоким, статным, резким в словах и жестах, но в чем-то и вправду неуловимо интеллигентным), и я, глядя на этот журнальный снимок, всегда с грустью вспоминаю грустную же русскую поговорку: "Красивыми, быть может, не были, а молодыми были".

В заметке написано вот что:

"В журнале "Смена" был опубликован рассказ-быль К. Воробьева "Верное сердце". Редакция получила много откликов на него. Читатели просят познакомить их с Константином Воробьевым, с его новыми произведениями.

Константин Дмитриевич Воробьев родился в 1919 году в Курской области. Юношей приехал в Москву, работал уборщиком в магазине, был шофером, а вечерами учился. Затем стал профессиональным журналистом. Войну К. Воробьев закончил командиром отдельной партизанской группы в Литве.

В 1956 году в Вильнюсском издательстве вышел первый сборник его рассказов "Подснежник".

А теперь я "передаю слово" земляку Константина Воробьева, нашему общему другу, задушевному человеку и писателю Евгению Носову:

"...Я развернул карту моей курской стороны и долго вглядывался в ту ее полуденную часть, где к тонкой синей прожилке безымянного ручья прилепился похожий на рыбью икринку топографический кружок села Нижний Реутец. Из этой-то икринки и вышел в большой свет своеобразный и яркий художник Константин Дмитриевич Воробьев. Родился он всего в одном дне ходьбы от моей деревни, и получилось, что некогда, еще мальчишками, мы видели одни и те же закаты и восходы, слышали одни и те же майские громы и поди что мокли под общими ливнями. Да и хлеб ели почти с соседних полей, и жили, и росли по единым обычаям, дошедшим к нам от общих наших предков – пахарей и воинов земли Северской.

Но так случилось в круговерти жизни, что не знали мы друг друга почти полвека и встретились (теперь горько сознавать это) лишь незадолго перед кончиной Константина Дмитриевича. И чувствую, догадываюсь, как же нужны мы были друг другу, почти одновременно вступившие в литературу, трудно, вслепую искавшие туда дорогу, как важны были нам в ту пору взаимная поддержка и одобрение".

Слышите, как большой мастер, тонкий стилист, честный человек Евгений Носов в пожилом уже возрасте, вольно и невольно винится перед земляком-писателем. И общественность наша, в первую голову литературная, пыталась и пытается это сделать – после смерти Константина Воробьева (1975 год) в Вильнюсе был издан двухтомник; одна за другой вышли книжки в центральных издательствах столицы. Наконец-то! – снизошло до творчества большого мастера слова и самое массовое издание – "Роман-газета"; появились статьи и исследования творческого наследия в газетах и журналах. Слышал я, что известный режиссер Алексей Салтыков собираются поставить художественный фильм по повести "Убиты под Москвой". Медленно, как-то разрозненно и лениво начинает проявлять интерес к творчеству К. Воробьева и наш дорогой читатель, которого, судя по отношению хотя бы к этому незаурядному писателю, мы как-то заискивающе перехваливаем и торопимся ему наговорить комплиментов при любом удобном случае, особенно по торжественным дням.

И, следя уже за посмертной судьбой писателя и товарища, не раз и не два я горько вздохнул: "Вот бы все это при жизни!"

Как нуждался Константин Воробьев в участии и поддержке. Как трудно пробивался в печать. Всю жизнь трудно, с нервотрепкой, доходя порой до отчаяния и душевной депрессии.

Однажды я написал письмо в Вильнюс незнакомому еще тогда писателю по поводу повести "Алексей, сын Алексея". Потом она будет названа "Сказание о моем ровеснике". И с руганью по поводу повести "Капля крови", которую тоже написал Воробьев, но совсем другой – вот вам и "лучший в мире", внимательный читатель. Еще один!

"Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пронять, отчего мы, несмотря ни на что, сохранили живой, честный ум и веселый смех. И никому, никогда не отдадим свой летучий – для нас неминуемый гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить".

Потом, при личном знакомстве, придется убедиться, и не только мне, что оптимизм его, Кости, и резкий, ядовитый, но веселый нрав – все это от природы, а не от литературы. Зная, как трудно складывалась его военная судьба, мы много и не раз говорили об этом, но более всего расспрашивали его о том, что это такое – кремлевский курсант? Каково служить при Кремле? И он охотно, порой с юмором рассказывал нам, его друзьям и товарищам, о действительно очень трудной, единственной в своем роде службе. До войны стоял возле Мавзолея и на других постах по два часа. Ныне – один час. Неподвижно. Окаменело. Со стороны это торжественно, красиво, благоговейно. Тем, кто смотрит. Но тем, кто стоит?.. Когда нет посетителей, можно переступить с ноги на ногу, переморгнуться с напарником по посту, размять пальцы на руках и ногах. Но когда на глазах у людей...

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru

"Села как-то муха стоящему напротив курсанту на лицо и пошла обследовать его черты – такая ли шустрая, любопытная: и в нос залезет, и по губам шарит, и в глаза заглядывает. Я едва сдерживаюсь, чтоб не засмеяться. Нельзя – у Мавзолея стоим, идет народ. А она, муха-то, обследовала лицо напарника, ничего в нем выдающегося, видать, не нашла, покружилась – и раз! На мое лицо! И тут уж я до конца осознал старую истину – смеется тот, кто смеется последним..."

Бог его знает, может, это байка кремлевских курсантов насчет мухи, однако в память рассказ Кости запал.

Приняв первый бой под Москвой, жесткий, беспощадный, Константин Воробьев попал в плен, бежал из шяуляйского лагеря в партизанский отряд и там встретился с Верой Викторовной, которая стала его женой. Она и поныне хранит верную ему память. И архив писателя. Сейчас и Вера Викторовна, и дети Константина Воробьева живут в России, в Москве.

Как мечтал, стремился покойный писатель домой, в Россию. Но так и не смог осуществить своей мечты, так пусть хоть его близкие поживут здесь.

"...Желаю радостей и хоть немного денег. Ты не задумывался, отчего их у нас нету?"

"В день по абзацу пишу, а иногда и по целой странице. Видал?"

"Вот и дождался я своих "Аистов" (сборник повестей и рассказов: "У кого поселяются аисты". "Советская Россия". 1964 г. – В. А.) Посылаю тебе их. Жалко, что "Убиты под Москвой" ты читал в журнале. Там до черта было купюр. В сборнике же это полнее. Я ведь писал их, как продолжение "Алексея", Тебе не кажется, что мы с тобой одним миром мазаны?"

"Мне что-то сейчас не работается. Наверное, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов на своих аистов. Сволочи, вышибают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого!"

"Мне известно, что жить и писать с этим (живым, щедрым, русским сердцем) чрезвычайно трудно, но иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Мы нищи хлебом, но зато "в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне", как сказал Блок. Это чувство радости за свою нерастраченность очень четко проявляется в лесу, на пустынном озере. Правда?"

"Хочу в Русь. Криком кричу – хочу домой!"

"Что ты делал в Курсках? А Носов – кто? Я не читал его. Ох, хочу на Родину! Я ведь чуть-чуть не смылся в Рязань, да не вышло с жильем. Остается одна надежда – купить хатку где-то, крестьянскую, рублей за 200-300".

"Спасибо за ласку: я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потому как рык и брань сплошь. И не то чтобы я не понимал сути этой брани, не ведал истины этой брехни, но сердце-то незащищенное!..."

"Да, конечно, выдюжим, но дело в том, что иссыхает душа, выпадает из рук карандаш, вянут замыслы... А надо бы выдюжить! Ох, как надо! Но вот я иногда иду по улице и думаю: не дай Бог упасть и окочуриться, ибо сраму не оберешься".

"Принимался несколько раз писать тебе, но выходило так непотребно мрачно, тоскливо и горько, что... надо было рвать письма: я не люблю нытиков и неудачников... Ну-с. Есть у меня и просветы на горизонте: ребята из Пскова обещают осенью квартиру там. Перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может, там, на родной земле, будет лучше".

"...в Пскове не дали квартиру. Живу хреново. Меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать".

"Пребываю преимущественно в лежачем положении".

"...Мне передали, что ты на пленуме сказал доброе слово обо мне. Я тогда был в больнице, с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
(трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо – трюит и двоит, так что, к примеру, ежели встань возле метро и протянуть руку, то поданный пятак будет сходиться за три... Будь добр, черкни мне пару строк вот о чем: ты не мог бы поспособствовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве "Современник"?"

Из этих коротеньких выдержек из писем, адресованных ко мне, которые я расположил, чуть нарушив хронологию ради "оптимизма", видно, как жил и пробивался к читателю большой русский писатель, не доживший из своего срока какую-то долю, наверное, немалую, и уж совсем точно недоделавший очень многого, может быть, не написавший "главную" свою книгу – о чем свидетельствует посмертно напечатанная в журнале "Наш современник" лишь взявшая "разгон" повесть "И всему роду твоему..." По значительности замысла, точности стиля, удивительно тонкого проникновения в святая святых, душу человека, даже и в незавершенном виде эта повесть может и должна стоять на одной полке с русской классикой.

Из писем видно, что Константину Воробьеву не я один пытался помочь, но что из этого получалось, можно судить по письмам покойного или по такому вот примеру: к двадцатипятилетию со Дня Победы Пермское книжное издательство поручило мне составить сборник военной прозы, и наряду с другими известными произведениями я включил в этот сборник и рассказ Константина Воробьева "Дорога в отчий дом". И рассказ понравился в издательстве, решено было всей книге дать по нему название, соответствующее содержанию и духу сборника. Пока книга выходила, я переехал жить в другой город, и каково же было мое не изумление, а потрясение, когда я получил хорошо изданный сборник "Дорога в отчий дом", но самого рассказа там не было – кто-то где-то на пути к дорожному читателю "смахнул" рассказ.

Издатели, писатели, критики после смерти писателя начали его печатать, "привлекать внимание" к рано ушедшему незаурядному таланту. А что он был таков – никаких доказательств не требуется, откройте книги Воробьева на любой странице и читайте, вот хотя бы начало одной его самой почти первой повести "Алексей, сын Алексея":

"...Под вечер степь наполнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы – борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за три, выискивала впадину, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась..."

Какой легкий, изящный ритм! Какая влюбленная в слово поступь молодого автора, какой он еще романтичный!

А теперь послушаем его последнее произведение, неоконченную повесть "И всему роду твоему..." И тоже начало. Делаю это сознательно – для сравнения:

"...шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга, густая и туманно-седая, как и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвергательно-едко: бензин так и не выветрился за ночь, и свиная кожа стала неряшливо-пегой, а не первозданно-желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может, только из-за этого перчатки сильно воняли..."

Между "тем" и "этим" началом лежит жизнь художника. Ах, как не ценим мы ее, чужую-то жизнь! Все еще не научились. Или разучились? На бумаге больше, в застольной болтовне "проявляем заботу о ближнем".

"Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски роскошным рокотом, обдав его грязью – шофер, наверное, поддал газу, а Сыромуков подумал: как много развелось на свете разного оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом, глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно, – оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так, под горлом, стесненно затихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним, через долгую, как

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
целый век, паузу – второй, потом третий, а после начиналась скакучая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Этот страх каждый раз был новым, свежестрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, как граната, а страшилось все тело, и больше всего глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение: они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, вскидывались и опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе – зачем они это проделывали?.. Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом – наверное, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут, на всякий случай, окажется сухое место..."

Вот такая вот картина, на мой взгляд, не требующая никаких комментариев.

Но почему-то мне хочется вернуться еще раз к той, ранней повести.

В деревне Шелковке орудует продотряд, возглавляемый матросом. И сам он, и продотрядовцы очень революционно- беспощадно настроены, что и дает повод сбегать к белым посыльному и сообщить, что "Шелковку грабят".

"И вот на рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные продотрядовцы, как разбрызганные, кинулись в огороды и сады, но никто из них не ушел из села, и матрос со своей семьей – тоже".

И он, и Катерина, та самая, что ходила купаться в ковыли, пробовали сопротивляться, Катерина вместе с сыном хозяина того дома, в котором они остановились, погибли; самого хозяина, Матвея Егоровича, русского крестьянина, ярко, земно написанного К. Воробьевым, и матроса повели за село.

"На спуск к реке они двигались через податливо расступившихся баб и детей, и под свой плавный, широкий шаг матрос не переставал просить: "Может, кто взял бы ребенка, а? Восьмой месяц ему... Алексеем зовут, а?" Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребятишки застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками.

Через речку арестованных перегнали вброд и узкой полевой дорожкой, заросшей чернобылем и пыреем, повели к Бешеной лощине. В лесу гремели соловьи, томно ныли горлинки, безмятежно и кротко сияли в росной траве безымянные шелковские "тветы". Матвей Егорович, с детства знавший тут любой куст, каждую ложбинку и тропку, вывел матроса и конвоиров, минуя заросли, на чистую полянку. Захваченный живой и мирной благодатью леса, он впервые за всю дорогу от села ободряюще взглянул на матроса. Тот с грустным и каким-то предсмертным вниманием всматривался в лицо сына, слезно дрожа подбородком, и, пронизанный внезапным, горячим ужасом, Матвей Егорович почти закричал: "Чего ты?! Они же шуткуют! Погоняют нас тут, острастку напустят и..." Он так и не понял, что было первым: обвальная грохот леса или рывок матроса в сторону. Но пробежал матрос всего лишь несколько шагов и, роняя сына, сам упал, косо, с плеча. Подвернув под себя голову, он судорожно начал подгрести одной рукой, будто искал что-то в траве или плыл к неведомому берегу.

Почти разом с матросом упал и Матвей Егорович. На мгновение он замер, крепко зажмурив глаза, и всем своим телом почувствовал приближение к нему чего-то страшного. Не открывая глаза, он торкнулся головой на ребенка, на его голос, схватил и приподнял его навстречу конвоирам, как икону: "Люди! Люди!.." – ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле, которую сам он только что постиг в эти секунды и смысл которой словами выразить было нельзя.

"Люди", – шептал одно это слово Матвей Егорович, крест-накрест поводя перед собою ребенком".

Эта вот сцена со своей душой обдирающей трагичностью, глубочайшим философским смыслом, написанная столь красочно, напряженно и жизненно, право же, стоит некоторых современных, анемично-водянистых рассказов и даже романов. Но боюсь быть пристрастным и передам слово опять Евгению Носову:

"...Сквозь его взволнованные страницы еще заочно угадывается человек, наделенный личной отвагой, пламенным гражданским мужеством, взрывным зарядом темперамента и самопожертвования, чутким и ранимым сердцем, в чем я и убедился уже потом, при

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
близком знакомстве с писателем. Константин Воробьев любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно еще дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговей над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока еще не остыло, гранит его на звонкой наковальне...

На этом огне он и сгорел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц".

"Повествуя о жизни простых людей, он всегда стоял на позиции этих людей, и никогда сверху от них или сбоку, – пишет критик Ю. Томашевский. К. Воробьев не выносил жизни по регламентациям, порожденным темнотою и ханжеством, что остались в наследие нам от ушедшего навсегда прошлого. Борьбу за утверждение умной, созвучной с двадцатым веком жизни он считал первейшим делом литературы... Воскрешая в памяти былое – пережитое, затем мучился и страдал, чтобы люди, прочитав его книги, мучились и страдали меньше, чем он".

И это истинная правда!

Окидывая взглядом литературу последних лет, читая, допустим, "Ржевскую прозу" Вячеслава Кондратьева, так смело, зрело и разом вступившего в литературу повестью "Сашка", я вижу в ней прямое влияние не только писателя К. Воробьева, но и гражданина своей страны и нашей стойкой в лучших ее проявлениях литературы, гражданина и писателя, принимавшего на себя не только груз самоотверженной работы, но и удары критики, невнимание читающей публики, материальные лишения, житейские невзгоды – и, принимая все это на себя, он, как бывший командир-фронтовик, конечно же, со всей ответственностью сознавал и понимал, как понимали и его окопные друзья, перешедшие в книги, – вослед идущим бойцам будет легче прокладывать пути вперед, плодотворней трудиться творить.

"И все же... Все же..." вертятся вот и вертятся в голове не знаю чьи стихи, с детства запавшие в память, ибо не раз возникала надобность их повторять и повторять: "И все цветы живые, не из жести, – придите и отдайте мне теперь! Теперь, теперь, пока еще мы вместе..."

1983

Пятнадцать минут

Об Александре Твардовском

С Александром Трифоновичем Твардовским я встречался с глазу на глаз только один раз и проговорил всего пятнадцать минут.

Было это в конце пятидесятых или начале шестидесятых годов. Я оказался в Москве. В редакции "Нового мира" лежали мои три или четыре рассказа, на публикацию которых я особой надежды не питал, но уже и тем был приободрен, что вот "взяли", и не куда-нибудь, а в "Новый мир", к самому Твардовскому, который, слух шел по России, сам! лично! читал все! рукописи, поступающие в редакцию журнала.

Явился на Пушкинскую площадь, к заветной тяжелой двери рано поутру. Какая-то сердобольная тетенька, вахтерша или уборщица, спросила, к кому я, зачем, и, видимо, не первый я тут такой был и не последний, пригласила посидеть... Журнал "Новый мир", кроме всего прочего, всегда отличался еще и журнальной этикой, привитой, как я теперь понимаю, деловым человеком Симоновым и укрепленной строгим Твардовским, – это я испытал на себе лично, и в качестве безвестного автора, и в качестве уже широко печатающегося.

Приехал Твардовский. Все как-то подтянулись, построжили.

Я потом узнал, что у Твардовского в старом здании не было постоянного кабинета, и он мог оказаться в любой из комнат редакции. На сей раз он оказался в большой, почти пустой комнате, похожей на зал, и, улыбаясь, шел мне навстречу, но я к месту прирос – смотрю на живого Твардовского и сам себе не верю.

Коротко и сильно пожав мне руку, Александр Трифонович отступил на шаг и внимательно на меня посмотрел. Какой выразительный и пристальный был у него взгляд, и глаза-то вроде белесые, круглые, в ободке круглого, же, тенистого

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
зрочка, но так много в них вмещалось! В тот день сверх всего светилось радушие во взгляде поэта, приветливость и желание делать добро, пусть и первому встречному, коим, к моему счастью, оказался я.

- Воевали?

- Да.

- Где и кем?

- Солдатом. На Первом Украинском.

- Солда-атом!

Я сидел напротив Александра Трифоновича на стуле, а он - в старом кресле с деревянной массивной спинкой, крашенном черным или из черного дерева. Пиджак его висел на спинке, был он в чистой-чистой глаженной рубашке в светлую полоску, рукава рубашки были засучены до локтей, обнажив крупные, крестьянские руки с утончившимися уже пальцами и чуть полноватыми предплечьями. Волосы, видимо, утром только мытые, топорщились, были они тонкие, даже на взгляд мягкие, и, привычный на портретах, молодежавый, с гладкой строгой прической вбок, был сегодняшний пожилой Твардовский с этим вольным, седым волосом как-то ближе, доступней, родственней.

И хотя вид у него был деловой, чувствовалось его расположение к беседе, к общению, он не смотрел на ворох бумаг и на мои гранки, положенные сверху, не рукосуйничал, не хватался за телефон, он тихо расспрашивал меня про жите-бытье и как-то незаметно повернул разговор на войну.

- Да, это хорошо, что бывшие рядовые начинают писать. У них совсем нетронутый материал. Пишет о войне наш брат, военный журналист, офицеры, генералы, тыловые работники. Вы Быкова читали? Знаете?

- Читал. Но лично не знаком.

- И что вам хочется написать о войне?

- Прежде всего хочется задать вопрос: что это такое было?

У нас в литературе сейчас много людей, видящих и помнящих себя в виде пасхального кулича - сразу он явился свету круглым, пышным, сладким и праздничным. Но есть восхождение хлебного колоса на кем-то вспаханной, чаще всего отцом и матерью, земле. Именно с хлебным колосом на ниве русской словесности мне кажется уместным сравнить жизнь и деяния Твардовского - от уровня стихов далекой смоленской "районки" к Моргунку, к этому откровению молодого поэта, да и поэзии тех лет, ко всенародному, всем необходимому, как хлеб, Василию Теркину, к лирике военных лет и, последовательно, к мудрой, весело-спокойной поэме-роману "За далью - даль", а от нее к вершинам своим - поэзии последних лет.

Мы еще сколько-то поговорили о войне, но я не давал себе разойтись, лишь немного поведал о послевоенной жизни, стараясь выбирать самое "смешное", и от этого "смешного" Александр Трифонович поскорбел, опустил глаза в стол.

- Так всегда было после войны, - сказал я то, что прошло-промелькнуло в эти минуты во мне.

- Да мы-то не всегда были, - будто упреждая мои слова, тихо и горько произнес Твардовский. - Мы, создатели нового общества, новой армии. И войны такой не было. Здесь, - ткнул он пальцем в гранки, - есть то, о чем вы мне говорили?

- Немного. Остальное здесь, - постучал я себя кулаком по голове.

- Вот и берегите ее, - мягко улыбнулся он, пододвинул к себе гранки и начал их листать. - Зачем же вы так делаете? - Я напрягся, подался вперед. - Зачем так неряшливо, а то и нарочито сплетаете авторскую речь с повествовательной?

Я чуть было не ляпнул, что в этом "моя особенность", но тут он прочел такой

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
пример из текста, что я обрадовался – слава Богу, не успел ничего сказать.

Потом он наткнулся на описание дерева без вершины, дерева, сломленного давно бурей.

– А у дерева, да еще сломленного бурей, да еще такого сильного, как лиственница, которую вы описываете, много вершин должно быть! – И рассказал, что в Пахре, где он живет, есть поломанная ель и что у нее, у ели, признающей вроде бы всего одну лишь острую верхушку, пошло несколько отростков, и который-то из них станет и вершиной...

Это он говорил со мной о рассказе "Бурелом" и коротко, но в то же время очень убедительно доказал, что не буря и бурелом в рассказе главное, а столкновение людей под бурей, столкновение светлого с темным. Человека пропащего, вроде бы и сволочного, потрясет не столько буря, сколько незапутанная, простая и честная жизнь такого же, как он, существа.

Я внял советам Александра Трифоновича и несколько лет спустя, с большим трудом доделал этот рассказ. Называется он теперь "Восьмой побег".

Конечно же, в короткой беседе с Твардовским были моменты, когда меня, человека норовистого, охватывало желание поспорить с Александром Трифоновичем, не согласиться, возражать ему, да я сдерживал себя: поспорить-то я и потом, в уме, еще успею. А вот послушать... К той поре я уже немного понимал, что характер писателю нужен не менее, чем талант, а вот норов ему ни к чему. Учись, внимай, бери, пока дают, не упускай счастливых минут драгоценного и редкого общения, подаренного тебе судьбой... Но и на это нужно умение, нужна внутренняя культура, которая начинается со сдержанности, с умения слушать и выслушивать вещи, иногда и неприятные, и разбираться в них, в себе и про себя, а не разводить словесный базар, да еще в присутствии людей старших, оторвавших время от себя, которого у них уже в обрез и которое читателю дороже, чем твой горячий спор, часто являющийся не чем иным, как молодецким торканьем в открытую дверь.

– Вы поработайте еще над рассказами и приходите к нам да напечатайтесь так, чтобы сразу было заметно и достойно. – Твардовский вопросительно глянул за мою спину – там стояла седая женщина с ворохом сколотых бумаг. Потом, потом, – приподнял он руки и как бы загородился ими.

Я поскорее стал подниматься со стула, чтобы откланяться. Александр Трифонович улыбнулся мне ободряюще и чуть виновато, "видите, мол, сами". А я твердил: "Спасибо! Спасибо!".

Александр Трифонович вышел из-за стола, подал мне руку и, не выпуская ее, как бы загородив меня плечом и левой рукой от кого-то, повел до двери.

Нет Александра Трифоновича на свете, к сожалению, нет. Но пятнадцать минут, потраченных на меня великим поэтом и гражданином нашего времени, я буду отрабатывать всю жизнь.

1985

Выполняющий долг писателя и гражданина

О Василе Быкове

Настала пора держать отчет, становиться на боевую поверку двадцать четвертому году – великому и горькому; году бойцов, которые докажут потом в труде и на войне, что они помнят не только о своем человеческом назначении, но и о той ответственности, какую наложило на них время, их год!..

19 июня 1924 года в тихой лесистой трудовой Белоруссии родился будущий воин и писатель – Василь Быков.

Творчество В. Быкова нет надобности представлять советскому читателю настолько широко известны его произведения и имя, имя человека, так и не выходящего с переднего края нашей жизни и прошедшего "сквозь весь огонь", как писали о нем однажды в газете, не только войны, но и писательской надсадной, испепеляющей сердце работы.

Я встречался с Василем Быковым только мимолетно, в толчее писательских съездов и собраний, потом мы изредка писали друг другу. Но странное дело, мне всегда казалось и кажется, что я давно знал и знаю этого человека с простоватым на первый взгляд лицом застенчивого сельского интеллигента, с умно и опять же застенчиво-скромно мерцающими под роговыми очками глазами, вешняя прозелень которых выдает истинного сына Белой Руси, – с рождения увиден и навечно отражен в них цвет спокойно зеленеющей родимой земли, которую белорусы умеют не только любить и оплакивать, но и умирать за нее, – не к месту, может, а все ж напомним, что в Отечественную войну погиб каждый четвертый белорус.

Ощущение же близости, братства, если не бояться громких слов, с человеком и особенно с писателем есть свойство души доброй и отзывчивой. А раз писательский труд, как давно замечено, не что иное как отражение души, свет ее, то труд истинного писателя, произведения, им созданные, всегда похожи на него самого – оттого-то и происходит узнавание писателя, привычка к нему, если он истинный, талантливый писатель, повторяю, по книгам и мыслям его.

Не раз и не два случалось в Сибири, на Урале, в Вологде ли, когда заходил разговор о писателе В. Быкове, люди как бы разумеют его здесь, где-то по соседству живущим, и словно забывают напрочь, что под произведениями Василя Быкова стоит мелко набранное: "Перевод с белорусского"; и это не обезличка национального, не отрицание принадлежности к своему народу – это та самая творческая индивидуальность, та сила таланта, которая стирает всякую условность общения между людьми и делает единым читателя и писателя в любви и доверительности друг к другу, хотя самому писателю, работающему на родном языке, общение с широким многонациональным советским читателем создает дополнительные очень большие сложности и трудности: ведь как бы хорошо ни переводили произведение, утраты, особенно языковые, при этом неизбежны.

Советскую и тем более белорусскую литературу без Василя Быкова представить уже невозможно. Творчество этого писателя явилось как бы болевым отражением потрясающего и героического времени – Отечественной войны. Сам участник войны, пехотинец, проливший кровь, пот и слезы в окопах и госпиталях, Василь Быков честным и ярким талантом своим был приговорен нести тяжкую и славную долю бойца и в литературе.

Не принято вспоминать о горьком и досадном, о том, что помимо работы выматывает силы, доводит до усталости и боли писательское сердце, и о тех, кто портит кровь творцу при жизни и плачет скорою слезою у его раннего гроба. Бог с ними! Они были и будут, к сожалению, да и не искали писатели нашего поколения легкой доли ни в жизни, ни на войне, ни в работе и всегда верили в справедливость, в правду. И она восторжествовала, эта справедливость, и не могла не восторжествовать, ибо, когда критическая мельница вдруг заработала в обратную по отношению к писателю Быкову сторону, по временно внахлест подувшему ветру, читательская привязанность, любовь и наше фронтовое дружество были с Василем, помогли ему устоять. Ну а если порой охватывало писателя отчаяние и одиночество (а я это знаю из писем ко мне и рассказов друзей Быкова), наверное, перед глазами его предстал образ лейтенанта Ивановского из повести "Дожить до рассвета", создаваемой им именно в эту нелегкую пору жизни: смертельно раненный, почти замерзший лейтенант Ивановский не дает себе умереть, держится уже какой-то запредельной силой за жизнь ради того, чтобы выполнить свой воинский и человеческий долг – убить врага всех честных людей – фашиста. И он выполняет его, этот долг, бросив гранату, он тут же умирает, но и враг повержен. Правда, повержен обозник – тыловой вояка, однако вот о чем думаешь, закрывая последнюю страницу этой потрясающей, на мой взгляд, лучшей повести Василя Быкова: вот если бы все наши граждане и воины в сорок первом году, да и дальше выполняли долг перед Отечеством своим так же, как лейтенант Василя Быкова...

Но это уже другой разговор. Оставим его для встреч и для книг. А сейчас я позволю себе мысленно окинуть взглядом строй тружеников литературы, которым выпала честь родиться в 1924 году и рапортовать в полувековой юбилей, в 1974 году, о пройденном пути: Юрий Бондарев, Николай Старшинов, Юлия Друнина, Григорий Бакланов, Юрий Гончаров, Михаил Горбунов – немалый набирается строй, строй, которым можно гордиться нашему народу и всему вчерашнему воинству.

На правом фланге этого крепкого строя прямой и строгий в жизни и работе полвека стоит и не колеблется боец и художник Василь Быков! Поклон тебе, брат, с седого

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
Урала, где в маленькой, белой черемухой залитой деревушке Быковке – совпадение какое нечаянное и замечательное! – сижу я и работаю и откуда кланяюсь тебе низко за твой ратный и творческий подвиг знай и помни всегда: живешь и творишь ты – легче жить и работать твоим читателям и друзьям...

1974

Необходимый человек

Есть какая-то естественная и постоянная необходимость присутствия в жизни общества нужного этому обществу человека. Он всегда ко времени и к месту, даже если время зовется безвременьем, он, независимо от него и обстоятельств, ему сопутствующих, творит себя и влияет на окружающих, как бы и не прилагая к этому усилия. Созидательное творчество, как бы ему ни противостояли злые силы разрушения, всегда благотворно, всегда наступательно, иначе давно бы люди на четвереньках вернулись в пещеры, тем более что стремление вернуться туда принимает все более настойчивый и массовый характер.

Вот так ко времени и месту пришелся нашей литературе, обществу и отечественной культуре Сергей Павлович Залыгин, крупный писатель, неутомимый общественный деятель, требовательный товарищ и умный собеседник.

Я не помню, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Залыгиным. Ощущение такое, что знал я Сергея Павловича всегда и присутствие его в моей жизни, влияние на нее, а стало быть и на работу было постоянно, хотя случалось, не виделась мы годами. Он после ухода из "Нового мира" и кончины Твардовского как-то неуютно чувствовал себя в литературе и, по-моему, одиноко среди своих сверстников.

Но талант одиночества не терпит, дарование (слово-то какое чарующе секретное!) даром не дается, оно тревожит, ищет духовного сообщества, выхода творческой энергии и ответной подзарядки. Сергей Павлович "подбортнулся" к младшим собратям по перу, а они к нему. Нет среди шестидесяти- и пятидесятилетних литераторов такого заметного таланта, о котором Сергей Павлович не сказал бы доброго слова, не поразмыслил бы вместе с автором талантливой книги о его дальнейшей судьбе и работе, не помог бы советом. Деликатный по природе человек, он не кокетничает с собеседником, не унижает его и себя изысканностью выражений и парфюмерными деликатностями. Хорошо знает он, что работа сочинителя изнурительна и сурова, поэтому, как положено старшему брату в сибирской семье, укажет младшему без обиняков, чтоб не разменивался на пятаки, не тратился на суету, на мелочи, вел бы себя опрятно в литературе, не якшался со всяким окололитературным "мусором", не давал себя хлопать по плечу – кособоким сделаешься, но главное не подвергся бы пагубе русских талантов – пьянству. Сергей Павлович может служить хорошим примером бережного отношения к собственной жизни – он никогда не курил, не пил, жил и работал вроде бы незаметно, но независимо.

Вот ныне наши молодые творческие силы – сорока и дальше... летние ропщут на судьбу, мало им внимания и помощи уделяется. А нам больше уделялось? Да ничуть! Если учесть, что вступали мы в умиленную, облысевшую от лакировочной радиации литературу, оглохшую от самоупоения и восторженных од, славящих идейные лозунги и гениальных вождей, то и понятно сделается, какие времена и нравы царили в творческой среде, как растлевали, губили ложным пафосом молодых литераторов, устремленных к поиску и самостоятельности. А приспособленцев и подпевал травили сладкой едой, писательское начальство хлопало им в ладоши, критические хороводы вокруг них водили, медальками обвешивали.

Сколько сил ушло на преодоление косности в себе, давящей плесневелым камнем лживой действительности. Сколько времени ухряпано на хотя бы частичную ликвидацию в себе цензора.

Конечно же, были и тогда великие книги и таланты, но напустив слишком много шелудивого скота на литературный двор, они как-то отодвинулись в сторону, самоустранились от пастушьих обязанностей, предоставив нам полную свободу самостоятельно выплывать из мутного потока тогдашней словесности и выскребаться на скользкий берег лукавой литературы, бодро шагающей вперед. Вот почему каждая публикация сперва в области, затем в столице была автору праздником, а встреча, тем более беседа, с умным, даровитым писателем событием, наградой на всю жизнь.

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
Являлась потребность непременно оправдать, отработать, отблагодарить добрых людей за доброе к тебе внимание.

Мы жаждали Твардовского, Залыгина, Макарова, и они являлись в нашу творческую жизнь. А вот почитал "круглые" и всякие прочие столы, за которыми беседовали современные молодые, но уже сплошь бородатые таланты и никакой почтительности к старшим там не обнаружил. Нынешние молодые, за малым исключением, сами себе и Твардовские, и Залыгины. Все-то они знают, умеют, все "прошли", утомлены новациями, мятежностью духа и разрешением внутренних противоречий. Кажется, дай им вместо творческого общения побольше изданий, повыше гонорар, дачу от литфонда и машину от Союза писателей, как тут же и прекратится их "творческий поиск", иссякнут мольбы о помощи, в последнее время перешедшие в хоровое нытье.

И у Залыгина, и у нас, ныне шестидесятилетних, ориентиры были иные, вот в чем дело. Мы все, и старшие, и младшие помнили, какие гиганты, какая могучая русская культура стоят за нами. Робели ее и ощущали голодную потребность приобщения к ней, хотя и понимали, что время, пусть и не по нашей вине, во многом уже упущено из-за войны, борьбы с послевоенной нуждой, жизненными передерягами, психозом мнимых побед на всех фронтах и массовым одичанием на почве "здоровой" патриотической подозрительности друг к другу. Начинать надо было с ликвидации элементарной неграмотности, невежества, закостенелости привычек слушаться, слушать и верить всему, что слышишь, идти, куда прикажут, делать, что повелят. Мы нуждались в здоровом, твердом и честном авторитете, искали его среди действующих вокруг нас старших товарищей и если находили жемчужинку в назъме, то молились на нее, старались на доверие ответить доверием, на привязанность привязанностью, на добро добром, и не подсчитывали, в чем он, старший товарищ, превосходит, допустим, меня, в чем я его.

Был и у Сергея Павловича ориентир – крепкая, полнокровная и бурная молодая литература сибиряков двадцатых-тридцатых годов, сплошь почти погубленная в черные годы сталинщины. В той сибирской литартели величина первая – Владимир Зазубрин, легендарная личность, автор первого советского романа "Два мира", редактор журнала "Сибирские огни", затем московского журнала "Колхозник". Могучий телом и духом, красавец, богатырь, главами читал он русскую классику по памяти, в особенности Льва Толстого. Зазубрин воистину, как маяк в безбрежном море, притягивал к себе и собою талантливых, дерзких людей, и быстро объединил творческие силы Сибири вокруг журнала "Сибирские огни".

Я иногда думаю, какого облика существо предавало и губило таких богатырей, как Зазубрин? И почти с уверенностью могу обрисовать его: малорослая, редкозубая, недоношенная, умственно отсталая тварь, стремящаяся уподобить себе всех людей, сделать мир на себя похожим, вырубаящая леса для того, чтоб сотворить на его месте чашу, дабы иметь подходящее для червя, тли, губителя-короеда сорную среду обитания и в изобилии гниль для жратвы.

Ни ростом, ни видом Сергей Павлович Залыгин против Зазубрина "не взял". Но это только с первого пригляда. Он по-сибирски крепок, хотя и тихогоголос. Внутренние его "накопления", чем ближе с ним соприкасаешься и глубже узнаешь, поразительны, редкостная по нынешним временам, истинная, без жеманства, скромность постоянна и память, блистательная память! Никогда я не слышал, чтоб Залыгин говорил о себе и о своих книгах, тем паче возносил бы себя. Наоборот. Потихонечку, полегонечку "подъедет" к тебе, надо так и похвалит, слегка, все, чем ты живешь и дышишь, выведает и, не любопытства для, а по делу – будучи в "Новом мире" главным редактором, обязательно и новую твою рукопись за журналом "застолбит". Спросишь: "Над чем сам-то работаешь?" "Да так, – махнет рукою, – делаю одну штуку..."

Однажды на выездном секретариате в Архангельске, Залыгин делал доклад о литературе и два с лишним часа говорил без бумаг, цитируя целыми страницами Толстого, Достоевского и боготворимого им Чехова. "Ну ты даешь! – восхитился я в перерыве, – ты же вынуждаешь и нас, выступающих, говорить своими словами, а мы отвыкли от этого, не можем и не хотим публично показывать "глупость свою"".

"Ты знаешь, привычка, – перевел все в шутливую плоскость Сергей Павлович. – Я когда в Омском сельхозинституте преподавал, часов много, и аудиторий много – не запомнишь всего, чего и где ты говорил, так вот я и хитрил: все равно, думаю, из сорока-пятидесяти человек хоть двое-трое да слушали, и ну с попреками к студентам, не слушали, мол, мою лекцию-то, не запомнили даже, на чем я тогда остановился. А мне в ответ; "Ну как же это не запомнили?!" – ниточку мне дадут,

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
я ухвачусь за нее и пошел дальше шпарить..."

Иногда в литкругах, да и не только в них, говорят: "Нет, Твардовского не заменишь...". Конечно, не заменишь, ни в поэзии, ни в обществе, ни на месте главного редактора "Нового мира". Но достойно продолжить его дело, быть гражданином и патриотом своей страны и отечественной культуры возможно. Сергей Павлович, писатель вполне самостоятельный, не остановившийся на своих вершинах - "Соленой пади" и "на Иртыше", постоянно обновляется, ищет новые формы и свое направление в литературе. В ущерб своему здоровью и творчеству борется "за землю, за волю, за лучшую долю" в ту пору, когда одни уже посчитали это все давно и прочно завоеванным, другие - давно и прочно погибшим, так что и бороться "за идеалы" не стоит времени и сил. Тем более что "за нас" все время крепко думают и здорово решают там, наверху. Залыгин вот предпочитает сам думать и решать, и делал это во все и всякие времена, не дожидаясь указаний и соизволений откуда-либо. И журнал "Новый мир" он ведет на том уровне самостоятельности и журнальной культуры, на котором и надлежит вести это издание, иначе не стоило бы за него браться, читатели не приняли бы нового редактора и не простили бы ему, если б он не был достоин покойного борца-редактора, не продолжил бы его благородной "линии" в работе и поведении, не проявлял бы личного мужества и упрямства, не поддержал бы высокого авторитета "Нового мира".

Когда есть в литературе такой человек, как Сергей Павлович Залыгин, работать и жить легче, а когда тебя связывает с этим человеком многолетнее товарищество и взаимная симпатия, может, и любовь, которую мы - сибиряки косолапые медведи, часто не умеем и не успеваем высказать, это и совсем хорошо.

Пользуясь случаем, хочу во благо всех нас, ныне в литературе работающих и читающих, пожелать Сергею Павловичу как можно дольше жить вместе с нами, работать вместе с нами, помогать быть лучше нам в нашей, снова охваченной брожением умов и ободренной великими прожектами многотерпеливой стране. Да сбудутся на этот раз наши мечты, пожелания и ожидания.

А я далеко от Москвы, "во глубине сибирских руд" буду терпеливо ждать письма или звонка от необходимого мне человека и земляка: "Ну, как живешь-то? Чо поделываешь? Ты давай, парень, давай работай..."

1985

Как тот заречный огонек

Не большая и не маленькая река Сейм, то округляясь на травянистых плесах, то хлопая лопухами и доля гибкие иглы хвощей, катилась в горловинки и даже пошумливала. Вода в ней желтовато-серая с фиолетовыми разводами у берегов и возле ошипанной гусями осоки. И эта вот осока, шириной в два пальца, кинжально торчащая у берегов и по-ужиному шипящая, только и поражала мое воображение, да еще гуси, которых тут бродили тысячи, если не миллионы. Дерзкие, драчливые птицы, привыкшие трудом, а то и разбоем промышлять себе пищу, точно ведающие, что за каждую из них полагается большой штраф, если шофер раздавит, и потому надменно, как московские пешеходы, ведут они себя на дорогах. Не знаю, что такое курский соловей, не слышал, но курский гусь - это фигура!

Гуси были уже тяжелы - истекал срок их жизни, или, как выражается один мой знакомый, "наступал конец пределу". Сожженный жаром и задушенный пылью, падал с кустов осенний лист; объятый клубом земного праха, как подбитый танк дымом, двигался по полю трактор с картофелекопалкой, мчались машины на спиртзавод, соря по дороге буряками и картошками; вдали виднелся перелесок, над которым висело не утомленное, а прямо-таки уморенное солнце; общипанные, объединенные и загаженные гусями и утками берега Сейма пустыньны и тихи, лишь вяло гонялись над водой за мошками ласточки-береговушки да где-то за поворотом реки председательским голосом орал на всю округу петух.

Избалованного броской, поражающей глаз и воображение красотой Сибири, меня угнетала эта изработанная, заезженная, искорчеванная земля, на которой и присесть-то негде, попить водицы невозможно, потому что по реке гнало тучи белого пера, а в воздухе неотступно висел запах гусяного помета. Все больше и больше дивился я тому, что идущий со мной рядом друг мой говорит об этой земле растроганно, и не говорит, а прямо-таки поет немножко носовым, неторопливым голосом, и так поет, ровно уж и нет краше земель на свете, чем курская. Большое

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
и доброе лицо его как посетила блаженная улыбка, когда мы вышли из поезда, да так и не сходит.

Мы часто повторяем по делу и без дела: "Любить землю", "любить Родину", - а может быть, чувствовать, ощущать, как самого себя, а? Если любовь можно привить, укоренить и даже навязать, то чувства и ощущения передаются лишь по родству, с молоком матери, редкой лаской отца, когда опустит он тяжелую ладонь на детскую голову, и притихнешь под ней, как птенец под крылом, и займется сердчишко в частом, растроганном бое, и прежде всего в матери, в отце ощутишь Родину свою. А уж какая она, эта Родина, - все зависит от того, какие чувства перенял ты от родителей. В голой пустыне живут люди, и в тундре живут люди и любят ее так же, как люблю я свою диковатую и прекрасную Сибирь, как любит работающую, пожалуй что уж, усталую от трудов и набегов пристепенную Русь мой друг, негромко, но так проникновенно поющий о ней вот уж почти двадцать лет.

Поднимаясь по Сейму, дошли мы до крутых холмов. Берега здесь сделались чище, приветливей, в заводях поблескивали уже чернотой берущиеся листья кувшинок и лилий - одолень-травой назвал я их, и лицо моего друга помягчело еще больше - звучные русские слова для него самая сладкая музыка. Мы нашли тенистое местечко у реки, сели под кустами возле деревянных мостиков, оплесневелых от воды.

Солнце уже скатилось за холмы, перестал пылить трактор в полях, последними рейсами прошли машины, медленным белым войском наступали на прибрежные села цепи гусей, над головами нашими бумажно хрустели и падали в воду листья.

Мой друг сидел возле реки, голый до пояса, черпал воду большой, как лопата, ладонью и припивал ее, откусывая от горбушки ржаного хлеба. С язвой желудка не надо бы, пожалуй, грубый-то хлеб да с сырой водой, но раз в охотку, значит, и впрок. То сблизаясь остро, то расходясь, двигалась раздвоенная осколком лопатка. Ниже, наискось по спине, идет еще один шрам, рука тоже побита - ровно кто-то выхватил из этого могучего тела жадными зубами куски мяса, и у живого тела едва хватило сил и материи затянуть эти жуткие, провальню темнеющие шрамы с желтой безволосой кожей.

Мой друг - человек не то чтобы неразговорчивый, а скорее застенчивый, сдержанный по природе, - может иной раз много, хорошо, даже потешно говорить. Редко, правда, по настроению. И от выпивки ли, от благодати ли наступающего вечера он говорил и говорил чуть носовым голосом, и кажется, совершенно не замечал, что буханка хлеба, которую он потреблял с родной тепловато-мутной водицей, идет к концу и вообще о ночлеге пора бы подумать - осень все же, прохладой вон из кустов на спину понесло. Но я не останавливал его - уж очень редко ныне доводится нашему брату так вот побыть вдвоем, вдали от суеты и шума, да и поговорить ни о чем и обо всем сразу, без раздражения, тихо-мирно, не следя напряженно за строем речи и не умничая.

Мой друг говорил о том, как однажды подстрелили они с сыном здесь, на Сейме, одиноко плавающую гагарку. Взяли и подстрелили, потому что ружье было с собой. Гагарка жила с перебитым крылом дома, ее подлечили и выпустили, да все равно, наверное, погибла северная птица, каким-то ветром занесенная на курскую реку Сейм; говорил, как бы извиняясь передо мною, мол, рыбалка на Сейме сделалась никудышной - вполне может быть, что мы ничего не поймем; вспомнил о Вологодчине, где жил он однажды летом в гостях у друга в деревне Тимонихе. Вот где рыбалка - знай таскай! Не сказал он мне, да и не любит о том говорить, что привез с Вологодчины добрые ясные воспоминания, из которых родился затем один из лучших его рассказов "За долами, за лесами...".

Вечеру, когда уже забусила сероватая осенняя темь из-за холмов, доевши булку хлеба и ублаженно дымя сигаркой, он начал вспоминать о войне. Доподлинный окопник, рядовой боец, он не любил говорить о ней, как не любят говорить о своем деле настоящие охотники или мастера какого-либо ремесла. Раны бойца больше и сильнее скажут о войне. Нельзя всуе трепать святые слова. А может, не говорит еще и потому, что многовато развелось у нас тех, кто болтовней о войне зарабатывает себе положение и лепит карьеру. Как бы они, эти, много о войне говорящие, ни избегали неправды, все равно врут, чего-то присочиняют. А врать о войне, как, впрочем, и плохо писать о страданиях народа, - стыдно. Вот потому-то, наверное, опасается впасть в сочинительство мой друг. Мастер и труженик прозы, он знает, что память погибших друзей можно оскорбить неловким словом, корявыми мыслями. И готовится, как мне кажется, напряженно внутренне

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
готовится писать достойно и с достоинством о самом великом, что было в нашей жизни, – об Отечественной войне. Мне понятны его осторожность, трепет и уважение к памяти погибших – он воевал в расчете пятидесятидвухмиллиметровой противотанковой пушки, самой опасной на прошлой войне (пушки на войне, как и должности, тоже бывают разные!). Артдивизион отбивался однажды от наседавших фашистских танков, выкатив орудия на полотно железной дороги.

И если бы не это полотно!..

Автоматчики в потемках подобрались к пушкам, начали косить расчеты, танки сделали бросок, в упор, одно за другим сбивая орудия с полотна. Сколько-то человек скатились по насыпи, и полотно закрыло их от танковых гусениц и пулеметов. Кто-то отстреливался, кто-то полз, волоча за собой кишки, кто-то кричал: "Не бросайте, братцы!" – и хватался за ноги; кого-то тащил мой друг, потом кто-то волоком пер по земле его, и, когда останавливался передохнуть, друг мой явственно слышал, как журчит где-то близко ключик, и ему нестерпимо хотелось пить, и не понимал он, что этот невинный, поэтически звучащий ключик течет из него по затвердевшей тележной колее, лунками кружась в конской ископыти... .

Будет госпиталь, и не один, будет много дней и ночей одинаковых, как комариная нудь, будут страдания, будет День Победы, который он встретит на казенной койке, и дадут раненым по стакану вина в честь этого долгожданного праздника, и останется он незабываемым, этот праздник, и однажды друг мой расскажет о нем, и будут плакать люди, пережившие войну, читая рассказ "Красное вино победы".

Наше поколение не избаловано радостями жизни. В тяжкие послевоенные годы почти нетрудоспособный молоденький бывший солдат вдруг получит посылку из своей артиллерийской части – костюм, ботинки да кое-какие вещички, так необходимые и драгоценные в ту пору. Видно, хороший был солдат, коли помнил о нем командир полка и не просто письмо одобряющее прислал, а нарядил парня, будто ведал, что ему и поухаживать за девчонками не в чем.

Был еще праздник – взяли в газету работать, сначала цинкографом, затем художником-оформителем, а после уж и на должность литработника перевели.

Рождение детей, первая книжка, встречи с немногочисленными друзьями, вылазки на природу.

А ведь не так уж и мало!..

Мерцает в темноте Сейм и колышет отражение редких огоньков села, рассыпавшегося по холму, закручивая их пружинками, размазывая по плесу, а то бросая остренько и лучисто в нашу сторону. Не слышно птиц, не плещет рыба, лишь мягко шелестят отволгшие в вечерней сырости листья над головой.

Замолк мой друг, выговорился, облегчил душу, слушает свою по-осеннему притихшую землю. Какие воспоминания тревожат его? Какие звуки рождаются в его душе? Какая песнь там начинается? Разве узнаешь! Есть тайна таланта, никем еще не угаданная, не поддающаяся объяснению, а тем более понуканию.

Когда молчит художник – не мешайте ему. Может быть, он думает в эту минуту о себе, может, обо всех нас, может быть, страдает живым и горюет о мертвых. Всякое таинство, тем более таинство Творца достойно уважения хотя бы потому, что пока оно нам неподвластно и недоступно, а значит, глубже и сложнее нашего незрелого, но чрезмерно самонадеянного времени... .

Я говорю это прежде всего для тех, кому все ясно на этом беспокойном свете и кто с легкостью необыкновенной, а порой и с напором, достойным лучшего применения, подает нам советы, бросает боевые призывы, как писать и о чем писать... .

Утром шумел ветер и гнал над рекою листья, кружил перо и мусор по дороге, потом пошел дождь – и курская земля сделалась разом схожа со всеми землями, какие доводилось мне видеть в непогоду. Помните у мудреца Толстого? "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья – несчастлива по-своему". А с землями – наоборот: в мирные солнечные дни все они разные, в ненастье и в войну – одинаковые.

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru

Мы торопливо шлепали по лесу, такому густому, что под ним не росла трава. Вышли к какому-то пруду и, дурачась, мокрые, поплавали под дождем на затопленной лодке. Бросали спиннинг – ничего не попало. Потом заблудились на территории какого-то пионерского лагеря, уже пустого и безголосого. Сторож, бдительно следивший за нами, охотно рассказал, как короче пройти к станции, и даже ржавый замок на калитке услужливо открыл, чтобы мы поскорее убралась.

За сосновым бором на низкотравной полянке полосами стелилось белое перо – начался ежегодный, никем пока не объясненный падеж молодых гусей. Видно, не сулил Бог дожить им до праздника. На этой поляне друг мой наклонился и сорвал какую-то былку с махонькими спекшимися цветками и поднес к моему тугому носу:

– Чуешь, как пахнет?!

Я понюхал. Полузасохшая былка, на конце окропленная цветочками величиной с самую малую букашку, источала все дивные запахи этой засыпающей на зиму соловьиной земли, и главный из них, не растроченный в засушливое лето, запах молодой, еще влажной, силу набравшей весны.

– Чебрец! – сказал мой друг. – Как в Сибири зовут?

– Богородская травка.

– Богородская травка... богородская травка... – повторял мой друг, шагая вдоль какой-то полусгнившей жердяной ограды, отделяющей дорогу от старого яблоневого сада.

Так вот и вижу я моего друга – с маленьким цветком на большой ладони, с цветком, что до самых снегов и даже в сене пахнет молодо и свежо, – ни сушь, ни пыль, ни скот, ни птицы, ни люди, топчущие его, не могут остановить в нем силу вечной весны.

И песнь друга, как цветок чабреца, некорыстна с виду, но чист и высок ее тон, тот самый древний златоголосый тон, что звучал когда-то в сказаниях баянов, воспевающих славу молодой Руси, как звучит он в книгах певцов, рожденных порубежной и центральной Россией: Бунина и Тургенева, Лескова и Андреева, Есенина и Полонского, Кольцова и Никитина – да разве перечтешь их, российские таланты!

Евгений Иванович Носов достойно продолжает дело своих знаменитых земляков, так же бережно, как они, пестует родное слово, высвечивает его и отдает нам отграненным, в строгой оправе. Тем, кто любит литературные буги-вуги или захватывающие рассказы о всезнающих и всемогущих разведчиках, о в поту бьющихся с консерваторами новаторах, советую не читать книги моего друга, они не для трамвайного чтения.

А познакомился я с Евгением Носовым в Москве, на Высших литературных курсах. Мы были соседями – жили через стенку. Комната моя не отличалась покоем иль безлюдностью. Всегда в ней стоял дым коромыслом, грохотал мужицкий хохот, а то и пение раздавалось. Сосед мне угодил терпеливый, он и сам любил наведаться на "огонь", вставит, бывало, ногу в притвор, слушает, улыбается себе под нос иль одними глазами и никак не проходит в комнату. "Я хоть дым лишний в коридор выпущу, кроме того, у меня компот на кухне варится, боюсь, всплывет..." И слушал дальше. Но вдруг поднимал левую руку и, сжав ее в кулачище, бросался в разговор, как в драку. Чаще всего это случалось тогда, когда треп наш литературный переметывался на самое жизнь, и "выступающий" в чем-то был неточен, особенно если дело касалось природы...

Поразительную память, зрительную, слуховую и просто человеческую, с которой начинается уважение к родителям и прошлому Родины своей, обнаруживал тогда Носов. А были перед ним не мальчишки, не околотературная накипь, а чаще всего люди зрелого возраста, и не обделены памятью и талантом, если не писать, то хотя бы помнить и рассказывать о виденном и пережитом.

Он знал, когда цветет рожь и доцветает донник, где гнездится соловей и с какого возраста начинает петь, на какую приманку берет курская плотва и какая букашка поражает буряк в полях.

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
Многое из того, что знал он, знали, конечно, и мы, но как-то разбросанно, лоскутно. Мы тоже, например, могли назвать срок цветения ржи, но не все, далеко не все могли сказать и найти точное цветное определение ржи в утренний час, в полуденный зной или в пору заката.

Сосредоточенно, пристально, собранно познает природу Носов и к познанию жизни идет от нее, от природы. Путь, конечно, не новый, но всегда удивительный и неповторимый, ибо ничто в природе – ни поле ржи, что попало мне на язык, ни отдельная былинка в лугах – неповторимо, она лишь продолжает саму себя, и ничто, и никого больше.

Когда человек, да еще пишущий, усваивает это, жизнь его обретает более глубокий смысл, а работа в литературе становится до невероятности трудной. Так вот Евгений Иванович и сковал "свое счастье" на этом пути. Нет среди знакомых мне писателей никого другого, кто бы работал так медленно и надсадно. Мне доводилось видеть рукопись его рассказа в авторский лист размером. Этот рассказ, как яичный желток, был вылуплен из рукописи страниц в полтораста, и каждая из этих страниц отделана так, что хоть сейчас в типографию сдавай.

Всяк работает по-своему, тут и темперамент, и характер не последнюю роль играют, но перед такой маетной работой я склоняю голову, тем более что, когда читаешь рассказы Носова, особенно последние, наиболее значительные по содержанию и объему, такие как "И уплывают пароходы...", "Шопен, соната номер два", "Красное вино победы", повесть "Не имей десять рублей...", никакой маеты не заметно, и кажутся они написанными по вдохновению, единым махом и напором.

...Хорошее время! Счастливые дни! На курсах мы как бы спешили прожить, договорить, допраздновать то, что отпущено нам было сделать в молодости и чему помешала война.

Курсы мы закончили уж более десяти лет назад, и судьба распорядилась, кому кого помнить, с кем дружить, а кого тут же стерла из памяти без следа. Мы остались с Женей Носовым друзьями, и нам радостно и хорошо помнить, что где-то сейчас вот живет, дышит, а может, и пишет что-нибудь друг любезный.

Летом семьдесят четвертого года мы ездили с Евгением Ивановичем на Байкал. Мы там работали, вели семинар молодых писателей, и побыть нам на природе выпало всего несколько дней. А на берегах Байкала была дивная пора, пора цветения и таяния вершинных снегов. И Женя, увидев буйство природы, как-то весь размяк сразу, говорил мало, ходил медленно, глаза его то засияют радостно, то подернутся дымкой грусти – видно, в детстве, в воображении ли его, а может, и в мечте была такая же безоглядная, цветущая, голубая от незабудок и пламенная от жарков земля...

Потом я повез его на свою родину – Енисей, где Женя тоже не уставал смотреть и радоваться: "Осталось еще! Осталось много красоты! Ах, как беречь все это надо! Беречь!..."

Не скрою, я радовался его радости – ведь нет большей награды, коли показываешь дорогое тебе сокровище человеку и чувствуешь душу отзывчивую, понимающую, а уж отзываться добром на добро, сердечностью на сердечность, уметь слушать и утешать – этого не занимать Носову – человеку и писателю.

Я пишу все это в далекой северной вологодской деревушке, в сырой зимний вечер. За окном подвывает ветер, порывами налетает, лепится сырой снег, за которым бело мерцают поля и дымится темными полыньями, как бы мучаясь от наготы, река Кубена. На холме, за рекой, меж перелесками, угольком теплится огонек – там, в заброшенном селе, живет человек, что-то делает, о чем-то думает. И мне уж не так одиноко в этот непогожий вечер, в сиротскую эту зиму, потому что теплинка эта напоминает мне о друге, который живет за тыщи верст от меня, но душа его, как тот заречный огонек, мерцает мне живым светом, а доброе, глубокое слово его вот уже почти двадцать лет согревает душу читателю.

В моей памяти Женя, отныне уже Евгений Иванович, не меняется, все такой же он, грузный фигурой, сдержанный в общении. Облик его и сердце доброе вроде бы неподвластны времени, только чуть сунулись к переносью крутые надбровные дуги, грустней, пронизательней и усталей сделался взгляд, да реже и реже бросается он в разговор, как в драку. В душе его происходит серьезная, сосредоточенная

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
работа, трудно вызревают и еще труднее будут поддаваться перу новые книги. Он еще, чувствую я, напишет немало, ибо много умеет видеть вокруг себя, запомнить и мучительно пережить в себе, да и кость его, рука еще крепки, - словно бы о нем или о таких, как Евгений Иванович Носов, сказал один поэт: "Мужичья кость, простые люди, чьим потом залиты поля, на ком держалась да и будет держаться русская земля".

1975

Чистая душа

О Викторе Лихоносове

Два человека, два Виктора, которых свела и сдружила литература, не побоявшись дать крюка, заехали в Вологду. И вот я хожу с ними, показываю город. Ребята глазастые, умные, сами многое понимают и видят - таким показывать родную историю легко и дивно, будто и сам все видишь вновь, открываешь неожиданное.

Два человека, два Виктора, умеют найти во всем свой смысл и значение, не призывают походя "любить родину и народ", потому что любят и то и другое по-русски сдержанно и верно. Не сплетничают два хороших писателя, два Виктора, не поносят "ихних" и не славят "наших". Хорошо. Радостно. Ребята крепкие. На таких можно положиться, на таких надо надеяться и многое от них ждать.

Один Виктор родом из Сибири, второй приуралец. Он рыжей масти, а характером совсем не огневой, даже напротив - застенчив, как девица, и по этой причине закаленный молчун. Но молчит он как-то по-особенному "активно молчит". Лицо его и глаза прямо-таки само внимание, сама доброта и нежность. Где-то под всем этим брезжит сильный характер, немалая физическая сила, духовная чистота и крепость.

Первый Виктор, который сибиряк, - себе на уме. Но это "себе на уме" мне очень понятно, близко и немножко смешно, потому что и сам я сибиряк, и всю "чалдонскую умственность", литературно именуемую утонченностью, вижу и знаю "наскрозь", как принято выражаться на моей родине.

Викторы, Лихоносов и Потанин, ходят со мной по Вологде, и один все напевает какую-то старинную песенку со странными словами: "Я люблю все живо...", а то возьмется подтрунивать над дружкой, и так и этак его тормозит, но ни одной пушинки выбить из него не может. Потанин посмеивается тихо, как-то даже снисходительно и нет-нет да подсадит поднаторевшего по части острот в "высшем свете" дружка, да так уместно, так славно, что тот даже крякнет от удовольствия.

Погода была - хуже не придумать: хлюпал дождь вперемежку со снегом, гололедно было, и Лихоносов шутил все реже, бодрился через силу. Здоровьишко его к такой погоде слишком чутко. Шапка с распущенными ушами совсем взмокла на нем и вроде бы сгорбила его тяжестью своей.

Чтобы сократить дорогу домой, я повел двух Викторов через базар, двери которого здесь простодушно и гостеприимно открыты день и ночь, а с одной стороны их вовсе негу. Шлепали мы по базарным лужам, и вдруг Лихоносов встал как вкопанный, и глаза его, хорошие глаза, как-то сумевшие соединить в себе детскую удивленность и взрослую печаль, возбужденно засияли.

- Ой, что это? - спросил он, показывая на голубые тележки, с которых торгуют в Вологде горячими шаньгами, именуя их по-здешнему - лепешками.

Я выгреб из кармана мелочь, и через минуту мои гости и я вместе с ними уплетали за обе щеки наливные шаньги.

- А с картошкой есть? - спросил Лихоносов. Я купил шанег с картошкой и с творогом, и оба Вити так их здорово ели, что тетка, торговавшая такой продукцией, по-хозяйски умильно воскликнула: "Эко-ко, мужики-то ровно три дня не едали!.."

- Да я уж не помню, когда и ел русские-то шаньги, - отозвался Лихоносов и покачал головой. - От Геленджика до Новосибирска, да и дальше, одни и те же пончики, одни и те же вафли, озеленелая колбаса, недоваренные куры. Нигде ничего не продают местное национальное. Ширпотребные сувениры продают, а съедобного

нет!..

Он говорил еще что-то глуховатым, негромким голосом, а я смотрел, как он аппетитно и чисто ест, и чувствовал – был сейчас Витя Лихоносов далеко от Вологды, дома был, у мамы, в сибирской избе на улице Озерной...

И на меня вдруг накатило: середина зимы сорок второго года. Мы, солдатики Новосибирского пехотного полка, уже обмундированные, подготовленные в маршевые роты, ждем отправки на фронт. Но где-то и что-то "не сработало" еще в военной машине, и нас бросили пока в Искитимский район "на хлеб".

Уроженец Саянской тайги и гор, я впервые видел совершенно новую Сибирь, ровную, степную, с реденькой щеточкой березняков вдаль. Над снегами, над шипящей летучей поземкой шумели бесконечно, желто и трагично неубранные хлеба. "Где же наш пахарь? Чего еще ждет?.." Пахари на войне, хлеб осыпался, и только серая ость да желтая мякина тучей кружились и пылили над белыми полями.

Осенью часть хлебов была скошена, но копны остались под снегом. Мы разгребали их, на своедельных волокушах тащили к комбайну. Там наши же солдатики, вчерашние крестьяне, молотили полуобсыпавшиеся колосья.

Горел костер из хвороста, тонких березок и соломы. Огромный солдат Коля Рындин, родом из Каратузского района Красноярского края, загнув противень из железа, жарил на нем пшеницу и, горячую, хрустящую, горстями засыпал в широкоуший рот, где зубы росли как у щуки – рядами и вразбивку. Хруст разносился такой, будто рабочая лошадь в стойле крушила жесткий корм. Дома Коля за один присест съедал ковригу хлеба, две кринки молока и чугунок картошки. Он раньше всех отощал на харчах запасников и последние два месяца из вечера в вечер рассказывал, как он, будучи в гостях у тетки, не доел, дурак такой, сковороду картошки, жаренной с мясом. Его уж бить пробовали, чтоб не дразнился, но Коля не унимался, и день ото дня рассказ его становился все пробористей, аж в животах у солдат ныло от этого повествования.

Отъехавшись в зерносовхозе харчами и пшеницей, Коля тут же начал выполнять работу за половину взвода и посмеивался над бойкими на язык, но неуклюжими, суетливыми в крестьянском деле, мелкосортными горожанами, которые впятером ковыряли копешку, как сытый Коля когда-то ковырял у тетки жареную картошку на сковороде. Коля как подденет на вилы копну, как шуранет ее на плечо и без всяких волокуш к комбайну прет, да еще и кричит что-то раздольное, дурашливое...

Колю Рындина свалило под Сталинградом в первом же бою. Какого истового, какого могучего крестьянина потеряла наша земля!

Глядя, с каким наслаждением гости мои ели домодельные шаньги, я невольно вдруг вспомнил о Коле Рындине и рассказал двум Витям о том, как тяжело было богатырю русскому жить впроголодь и как оглушительно хрумстел он подгорелой пшеницей. И как все мы хотели, чтобы никто больше не знал голода, унижающего человека, выматывающего силы его.

Не развеселились Викторы от моего рассказа, а ссутулились еще больше один от усталости, другой – по вековой привычке русских скромников выглядеть как можно "незаметнее".

За плечами их, невольно сутулящимися, уже не одна, не две книги, которые дали критике оправданную возможность толковать, что боль за человека, готовность и способность стать на его защиту, внутреннее соучастие и сострадание, а также "вкрадчивое очарование, женственная мягкость", доброта и безмерная любовь к малой родине, без которой нет и не может быть любви к большой, характерные, объединяющие их работу черты.

Но только ли для них они характерны?

Не та ли это пуповина, через которую питалось и питается вдохновение всякого истинно русского, истинно искреннего таланта?

Тогда, в Вологде, не было у меня таких мыслей. Просто "стронулось" мое ретивое, воспоминания заворочались, и все я пытался сделать непостижимое вообразить этих парней в ту грозную и тяжелую военную пору.

И выходили у меня маленькие, беззащитные ребятишки, чего-то постоянно ожидающие. Хлеба, конечно. Чего же еще ждали тогда дети! Хлеба, человеческой теплоты и победы, а там уж папка вернется, много хлеба привезет, а может быть, и сахару...

Вижу рыженького деревенского парнишку. Сверкая запяточками пимов, тащит он беремья дров, ухает поленья с громом у печки, подметает пол, заправляет лампу керосином, чтобы, когда мама-учительница придет из школы, усталая и промерзшая до изнеможения, сказала бы ему: "Помощник ты мой..."

Второй Витя видится кучерявеньким, круглоглазым, в чистой рубашке, в штанишках с ляпочками и карманчиком. Он прижался лицом к окошку, расплющив нос о стекло, смотрит на кривошековскую улицу Озерную, ожидая с работы маму с папкой, и напевает: "Я люблю все живо..."

Конечно же, не знал он тогда этой песни, и вообще ему не до песен было, есть ему хотелось, как и всем малышам военной поры, но почему-то так вот и видится: Кривошеково в густом морозном пару, за рекой – мерцающие настороженно и слепо огни Новосибирска, звездно сгущенные там, где огромный завод "Сибсельмаш", на котором доведется Лихоносову начать свой трудовой путь.

По кривошековской малолюдной улице, скрипя мерзлыми ботинками, бежит домой женщина, прижав к груди сверточек с хлебом. Это о ней впоследствии напишет ее единственный сын, родная кровинка: "Мать у меня не строгая, но я слушался ее во всем, невольно старался, чтобы молодое горе ее заплыло хотя бы маленькой гордостью за единственного сына. Я благодарен ей за внушенное мне широкое отношение к жизни и людям, и писательское восприятие у меня от нее".

Как мне хотелось бы, чтобы все читающие Лихоносова и особенно пишущие о нем повнимательней прочли эту фразу: "И писательское восприятие у меня от нее". Это избавило бы многих критиков от ненужных домыслов, натужных догадок и тривиальных рассуждений. Сказано – как вырублено. И кабы эти слова были относимы лишь к Лихоносову! А не у всех ли нас восприятие "от нее", от матери?

"Каки сами, таки сани", – любят говорить в Сибири, а по другому случаю еще шутят: "Свинья не родит бобра, а все того же поросенка".

Грубовато, конечно, по-сибирски топорно, коробит слух. Ну, чтобы смягчить нашу чалдонскую корявость, напомним изящных французов: "Ищите женщину!"

И найдете, уверяю вас. И это объяснит многое, почти все объяснит.

Отец, Иван Лихоносов, погиб на войне. Одна из многих русских женщин подняла одного из многих осиротевших парней, и не просто подняла, а, будучи жительницей рабочей окраины, так точно и с такой печальной любовью, описанной в повести "На долгую память", сумела каким-то образом выучить свое чадо и наделить совершенно естественной интеллигентно-стью, сохранив при этом в парне сибирское упрямство, настойчивость и творческий напор в труде нашем, названном одним моим другом шахтерским, – качества, совершенно необходимые и бесценные.

Из ранних вещей Лихоносова я больше всего люблю "Тоску-кручину", угадывая в главном герое некоторые черты характера самого автора, я вижу, как нелегко, порой до крика больно давалась ему, "маменькиному сынку", самостоятельность, эта самая настойчивость и стремление на все смотреть чистыми глазами, а коли глаза – зеркало души, значит, и душу сохранить чистой, незапятнанной. Мне кажется, эта повесть – большая личная победа автора над собой и обстоятельствами, которые, конечно же, были и будут в жизни несколько не похожи на те красочные картинки, каковые изображаются в школьных учебниках.

"Живая мысль – не повторение жизни, не слепок из истины, но новая жизнь, новое содержание, несущее в себе "учительную" силу. Она пускает корни в нашем сознании, продолжая жить и развиваться. Умудренные ею, мы и сами становимся зорче, по-иному смотрим на то, что казалось привычным и примелькавшимся". Эту точную и емкую мысль, высказанную критиком О. Михайловым, рассуждавшим о творчестве Лихоносова, можно отнести к работе всех молодых писателей, которые, прежде чем осмелиться говорить всеохватно, что чаще всего выливается во всеядность, хотели бы сначала познать самих себя, отделить в себе, а затем и в жизни истинное от мнимого, а это ведь было "вечным двигателем" поэтической души,

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
следовательно, и поэзии.

Но как часто попытка "себяпознания" признается и выдается у нас за "самокопание", якобы вредное нашей литературе и чуть ли не постыдное для советского литератора. Зато набеглое копание в кибернетике, в комбайне либо в мартеновской печи, которая почти как взаправдашняя польхает на сцене одного старинного театра, вызывает чуть ли не восторг и умиление. Писателям, осваивающим "производственную тему", даже тем шамкающим беззубым произведениям, по которым легко определить, что авторы их видели лишь трубы производства из окна собственной квартиры, а комбайн в телевизоре, писателям таковым за "новаторство" – одни пышки, а "самокопателям" – шишки.

Не раз уже и не два следовали критические окрики в адрес Лихоносова, и было опасение, как бы он не полез в спасительную подворотню, не погрузился бы в уютную и теплую книжность, которая утишила не один талант, опеленав его дымкой такой сладкой творческой полудремы. По правде говоря, это опасение есть и во мне, и Лихоносов как бы подживил его своей последней повестью "чистые глаза". Уж очень разительно отличается она от "тихих", но глубочайших и внутренне напряженных "Люблю тебя светло" и "Осени в Тамани", отличается как раз бойкостью рассуждений, поверхностностью мыслей. Как ни странно, эта, тоже в какой-то мере биографическая вещь очень книжна. Пожалуй, у Лихоносова она самая книжная, и не от настроения, не от жизни, а от вроде бы уж забытой "исповедалки" ее исток.

В мою задачу не входит производить анализ повестей и рассказов Лихоносова. Признаться, я и не умею этого делать. Более того, считаю, что книги надо просто читать. А то у нас сплошь и рядом, особенно в школах и на читательских конференциях, горазды бывают "анализировать и разбирать" книги и героев, а вот научить читать не умеют, даже, наоборот, случается нередко отучивают прочно и надолго от чтения.

Путь Лихоносова-читателя – от "Тихого Дона" к Пришвину, Есенину, Бунину, Толстому Льву, а затем и к древним летописям – мне кажется вполне соответствующим его мировосприятию и характеру, его душе, сумевшей не только почувствовать, но и в работе "задеть" – выражение все того же критика О. Михайлова – "болевые точки современности".

Непрост и нелегок творческий путь Лихоносова от простых, как беседа во время зимних сумерек в тепло натопленной избе, пахнущей тестом, березовыми дровами и сухой известью, "Брянских" к молитве о русской земле, о ее слове и грустноликих светлых певцах, которым как бы на роду написано задохнуться от восторженной любви к родине своей и неизбывной печали за нее, – к "Люблю тебя светло", где Лихоносов каким-то чудом сумел воедино слить слово и музыку, грусть и восторг, гордость и скорбь, жгучую современность и не менее жгучий исторический материал! Мне эта вещь, которой я так и не рискну подыскать жанровое определение, напоминает самую, быть может, пронзительную, самую национальную симфонию, написанную композитором, уже смертельно больным и потому озаренно чувствующим каждую уходящую минуту жизни, – Первую симфонию Калинникова. Думаю, что любовь к музыке и песне, прилипающая к душе сибиряка с малолетства и как бы всечасно звучащая в нем, помогла создать Лихоносову эту "звучную" вещь, и не только эту.

Следом за "Люблю тебя светло" появилась "Осень в Тамани". Это вроде "то же", что "Люблю тебя светло", да не "так же". И мелодия и строй новой вещи иные, но мысль, скрепляющая как бы "парящий над землей", свободный от литературных условностей сюжет, все та же мысль о непрерывности жизни, о скоротечном и в то же время беспредельном ее движении и глубине, доступная, может быть, лишь высшим и тончайшим созданиям природы – ее певцам. Среди них самому пространственному, самому "космическому" поэту Михаилу Лермонтову дано было заглянуть в такие неизмеримые бездны мироздания и человеческой души, что он содрогнулся дару, ему открывшемуся, измучен был им и погублен, как гибнет иной раз соловей от собственной песни, как вянет цветок, преодолевший силу корня, надсаженный собственной тяжестью и красотой.

Я толкую эти, на мой взгляд, пока лучшие достижения Лихоносова (и только ли его? Может быть, придет еще пора, когда их признают все же высоким достижением всей нашей литературы?) произвольно, на свой читательский субъективный взгляд. Бесспорно, однако, для меня одно – вещи эти дают такой простор мыслям и чувствам, в них так сильно спрессованы "звуки" и материал и столько много видится "за словом", что с первого раза, с налета их – открывающие или

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru предваряющие какой-то новый жанр в нашей богатейшей русской литературе – не прочтешь и не "раскусишь". Их надо перечитывать, и, уверяю вас, с каждым прочтением вам станут открываться новые и новые "геологические" пласты в этих вещах, исторгнутых звуком и сердцем. Не скрою, я всегда с нетерпением жду новое произведение Виктора Лихоносова и знаю, что будет оно не только по теме новое, но и неожиданное по решению ее. Лихоносов работает медленно, строго и взыскательно, стараясь не повторять даже свое, ранее написанное. Эпигонство, вторичность, заданность, процветающие в нашей литературе, подобно репью на пустыре, не влекут, к счастью, и не расхолаживают Лихоносова, даже, наоборот, прибавляют ему требовательности к себе, подвигают его на еще более глубокий поиск и работу,

"Пока мы обращаемся между собой, – пишет Лихоносов, – мечтаем и выслушиваем комплименты в узком кругу, – уютно, приятно, хорошо. Но оглянешься на полки с великими книгами – и страшно, и ничтожно думать о себе, якобы продолжателе чудных традиций. Страшно еще и потому, что люди, ум и глубину которых мы не всегда оцениваем, очень ждут от писателя и порою совсем не склонны принимать за правду те "великие", на наш взгляд, истины, которыми мы гордимся в уединенном восторге".

Ну что еще к этому можно добавить?!

Я очень рад, что живу в одно время с таким "идущим вослед" писателем, как Виктор Лихоносов, редким встречаю с ним рад и тому, что имею возможность сказать о нем эти от сердца идущие слова. Знаю, доброе слово зерном упадет в не бесплодную почву, а в добрую же и чистую душу и прорастет там новыми всходами. Горжусь тем, что родила нас с Лихоносовым одна земля и мы не из бахвальства и обесцененной привычки можем называть себя сибиряками. Землячество, как и родство, ко многому обязывает. Работает земляк напряженно, трудно, не делая заячьих скидок в пути, значит, и тебя тем самым обязывает к работе взыскательной, жизни бескомпромиссной, дороге нелегкой.

Светлое его слово, добрый и грустный взгляд издали постоянно слышны и ведомы мне. Надеюсь, и читателям тоже.

1976

Пророк в своем отечестве

О повести В. Зазубрина "Щепка"

Книги писателя почти неразделимы с его судьбой, и почти всегда сам автор вершит эту судьбу предчувствием смерти своей, а то и точным ее предсказанием.

За несколько дней до роковой дуэли смятенный, сгорающий на внутреннем самоогне Лермонтов пишет гениально-пророческое стихотворение: "В полдневный зной, в долине Дагестана"; почти столетие спустя бесприютный, мучимый предчувствием смерти и даже как будто ищущий ее, молодой, и наполовину себя не реализовавший поэт Николай Рубцов выдохнет незадолго до кончины: "Я умру в крещенские морозы" и почти не ошибется в сроках. Примеры эти можно множить и множить. На Руси Святой трагическая доля литераторов сделала из них еще и прорицателей-мистиков.

Повесть "Щепка" Владимира Зазубрина – это пророческое предсказание не только своей роковой судьбы, но и предвидение будущей доли своего несчастного народа, приговоренного новоявленной миру властью умирать в каменных и духовных застенках во имя идей всеобщего мирового братства и светлого будущего, строительство которого должно было начаться с разрушения старого мира "до основанья" и вылилось в неслыханное насилие, в невиданную ломку праведного человеческого пути. "Великий гуманизм", заложенный в основу навязанного России и доверчивому русскому народу чужеземного разрушительного учения, первыми испытали на себе те, кто были его проповедниками и садоводами. Самые преданных и ярых борцов за мировую революцию, за всеобщее равенство и братство сами же борцы и уничтожили.

К числу таковых относится и Владимир Зазубрин, автор первого советского романа "два мира", горячо принятого "буревестником революции" Максимом Горьким, написавшим предисловие к одному из первых изданий этой незаурядной книги, снисходительно одобренной даже самим Лениным.

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru

Родился Владимир Яковлевич в Пензе, в большой семье железнодорожного служащего Якова Николаевича Зубцова. Из большой семьи Зубцовых уцелело лишь двое детей – Владимир и его сестра Наталья, потому как прихваченный мятежными ветрами революции девятьсот пятого года глава семейства угодили в тюрьму, затем и в ссылку в город Сызрань с лишением всех прав вообще и в первую голову права на трудоустройство. Сызранцы ссыльнопоселенцев Зубцовых, живущих в подвальной комнате, звали "каторжниками", что в ту пору слышать было не просто обидно, но и оскорбительно. Глава семейства был из людей твердых, обстоятельствам неподвластных, с горестной судьбой ссыльного несогласных, упорно учился он и сдал-таки экзамен на звание частного поверенного в делах, сохранив таким образом хоть часть своего многострадального семейства, но от революционных устремлений его навсегда отшибло. Зато преуспел во всякого рода бунтах и революциях его единственный, в живых оставшийся сын. Еще в Сызранском реальном училище он был организатором и редактором нелегального журнала, за что и был исключен из училища, позимогорил в холодных одиночках и из тюрьмы вернулся больным, но не сломленным.

Все, кто видел и знал Владимира Яковлевича Зазубрина-Зубцова при жизни, отмечают его диковатую красоту и могучность, а также широту искреннего характера, прямоту взглядов, глубокую самообразованность, исключительно богатую память и обостренную впечатлительность.

Пройдя вместе со своим народом все сложные, кровавые пути революционного переворота, Зазубрин оказался в Сибири, сначала в армии Колчака, а затем и в Красной Армии. В Канске он смертельно заболел тифом, и его спасла семья сибиряков Теряевых, в доме которых был он на постое. В этом доме была младшая дочь Варвара Прокопьевна Теряева, студентка Омского сельхозинститута. Меж постояльцем и студенткой, его выхаживавшей, получилась любовь, и они навсегда соединили свои жизни.

Работая в Канской газете "Красная звезда", Зазубрин начал собирать материалы и писать роман "Два мира", после выхода которого его перевели в политотдел пятой Дальневосточной армии. В газете этой армии "Красный стрелок", в походной типографии печаталось первое издание романа. Здесь продолжилась активная творческая жизнь Зазубрина, которая затем привела его в журнал "Сибирские огни", где шло активное становление и объединение вокруг боевого журнала молодых литературных сил Сибири. Владимир Яковлевич с его организаторскими способностями, ярким талантом и редким человеческим обаянием пришелся тут в самую пору и скоро встал во главе журнала.

Он уже был довольно известным писателем, редактировал журнал "Колхозник", состоял в переписке с Горьким, несмотря на страшную занятость писал очерки, статьи, рассказы, работал над новым романом "Горы", напечатанным в журнале "Новый мир", мечтал написать книгу о Горьком, было много и других замыслов, но разом и навсегда все оборвалось – его арестовали и тут же, без следствия и суда, расстреляли – произошло это в декабре 1938 года.

И на долгие годы Зазубрин из нашей литературы исчезает, как исчезли имена многих и многих талантливых русских писателей. Книги незаурядного работника, честного коммуниста, набравшего творческую высоту, изымаются из библиотек, исчезают в топках социалистической индустрии, повесть "Щепка", одобренная в журнале "Красная новь", считается утерянной, и только стараниями сибирских литературоведов совсем недавно ее обнаружили в рукописном отделе Ленинской библиотеки.

"Щепка", которую и сам автор мечтал доделать, обратить в роман, и в нынешнем ее, может, и несовершенном виде потрясает, хотя потрясти нашего человека – читателя, ошеломленного хлынувшей на него страшной правдой прошлых лет, кажется уж и невозможно. Повесть печатается сразу в нескольких журналах, в Красноярске – в альманахе "Енисей", включается в разные прозаические сборники, переводится на иностранные языки. Недавно я видел ее в антологии русской новеллистики, солидно изданной в Лондоне, повесть Зазубрина с кратким и емким комментарием открывает эту книгу.

Читателю предстоит не просто прочесть эту воистину страшную повесть, помучиться предстоит, сжаться от ужаса, а верующим – перекреститься по окончании тяжелого чтения и молвить: "Господи, спаси и помилуй нас..." Неверующему же атеисту – еще и еще раз удивиться тому, как мы в этом современном аду выжили, сохранили живую

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
душу, пусть всего и частицу ее. Даже главный герой повести, предчека Срубов, являющийся бойцом, товарищем, "самым обыкновенным человеком с большими черными человеческими глазами", много размышляющий и рассуждающий о ценности человеческой жизни, пораженный несоответствиями между идеалом и реальностью, сходит с ума от своей кровавой работы.

Да, автор "Щепки" особых иллюзий в отношении революции и новой жизни не питал, по тяжкому опыту революционера и участника братоубийственной войны зная, что революции в белых перчатках не делаются, но революция, по его убеждению, не может быть безразлична к судьбе отдельного человека, она и делалась во имя человека, во имя сохранения лучшего в каждом человеке, однако и он, умный человек, запутывается в непролазных дебрях революционных деяний, в дремучей тайге оголтелой демагогии и, противореча сам себе, заявляет в одной из своих статей:

"...Место писателя в лагере тех, кто борется за счастье авангарда человечества - пролетариата, т. е. в конечном счете - за счастье всего человечества. Нам могут возразить - вы насилуете волю писателя, вы лишаете его творчество необходимой свободы..." - и далее, конечно же, слова Ленина: "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя..." - разящую силу которых Зазубрин испытал на себе, а мы, его последователи и продолжатели литературного дела, пагубу сих пламенных идей не можем изжить до сих пор. И не хватит, видно, нашей жизни на то, чтобы выветрилась из наших голов большевистская замороченность, "передовая" эта идейность, а из сердца нашего исчезла злобная тяга ко мстительной насильственности, к устремлениям навязывать свои идеи, свой опыт строительства нового мира. Мы так и не научились понимать и воспринимать непривычное нам, заболтанное слово СВОБОДА, жить и работать свободно тем более.

Сознание нации деформировано страхом, позвоночник ее искривлен тяжким бременем революционных преобразований, за которые платой была только жизнь, только кровь человеческая. Кровь эта в конце концов переполнила подвалы губчека и, хлынув на волю, красными волнами смыла из смутной охваченной страны, с улиц ее городов, из городских домов и деревенских изб, остатки того, что звалось Великим словом РОССИЯ. Страну и ее народ ввергли в долголетнее, беспросветное угнетение, небывалое рабство, к которому большая часть нашего народа так привыкла, что и не может себя и свою жизнь мыслить иначе, как в постоянном подчинении под чьей-то командой, да и распорядиться собой и теми благами возможностями, которые народу ныне предоставлены, он не умеет, не научен.

Повесть "Щепка" написана в 1923 году. Как много надо было знать, изведать, перестрадать, чтобы оказаться "пророком в своем отечестве", чтобы заглянуть в бездну будущего, предсказать последствия разгула того насилия над народом, жертвой которого стал и сам автор, ибо "лес рубят - щепки летят!" - изрек не менее мудрый и дальновидный, чем Ленин, его старательный ученик, верный последователь и выкормыш.

Будучи долгое время и сам преданным сыном своему времени, последователем соцреализма, кое-что постигнув в окружающей меня действительности, я уразумел в конце концов, что те безграмотные, тупые, горластые пьяницы и развратники, беспардонные разбойники, десятилетиями заправлявшие нашей жизнью, не могли терпеть возле себя людей умных, грамотных, самостоятельных, и сводили их в первую очередь. Никто так злобно и настойчиво не боролся с коммунистами, как сами коммунисты. Им, выскочкам, подхалимам, костоломам, такие люди, как Зазубрин, не могли быть "товарищами по партии", они усердно очищали от таких свои ряды и в конце концов низвели свою родную и любимую партию до скопища ничтожеств, корыстолюбцев, сладкоежек и недоумков. Но чтобы свалить такого известного человека, которого сам Максим Горький привечал, сам Ленин читал, нужны были причины весомые, зацепки основательные, и я обнаружил их, перелистывая второй том "Литературного наследия Сибири", целиком посвященного Зазубрину.

Сибирский подвижник Николай Николаевич Яновский, отбывший в лагерях смерти не один срок и сохранивший не только облик интеллигента, но и всю красоту души своей, отработал, наверное, все "десять жизней людских", оставив нам, сибирякам, не только добрую память по себе, но и восемь томов "Литературного наследия Сибири". Не было в Сибири такого молодого, даровитого автора, которого не заметил бы и не приветил в "Сибирских огнях" Николай Николаевич, где он долгое время работал заместителем главного редактора - на главного не тянул оттого, по

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
убеждению местных партдеятелей и заправил Союза писателей, что был недостаточно идейно подкован, склонен к вольности суждений, излишней самостоятельности в оценке писателей, книг современников и писателей прошлого, многих из которых он воскресил, вырвал из нетей. Творческий подвиг этого славного сибиряка не оценен по достоинству, как и труды многих и многих порядочных людей, работавших с нами бок о бок. До того ли сейчас нам, коли настала пора все свои силы и помыслы направлять на то, чтобы разобраться в сложнейшей философской и творческой ситуации – кто за кого?

Так вот, в "Литературном наследстве Сибири" я и наткнулся на главную причину убийства Заzubрина. Участвуя во встрече с писателями на квартире Горького, компанию коим составили большие знатоки отечественной словесности, руководители родной и любимой партии, Заzubрин говорил о художественной правде и по сибирской прямоте рубанул правду-матку о том, что вот "образ" Сталина изображается некоторыми писателями иконно, а не как живого человека. После этого, вспоминает сам Заzubрин, он "почувствовал себя неловко, поняв, что, увлекшись, сказал лишнее". Сталин-то рядом сидел, а таких вещей он не прощал не только каким-то там далеким сибиряком-пензяком, но даже ближним соратникам своим и родственникам...

Я для того так подробно пишу об авторе "Щепки", чтобы представление у читателей было о том, что за человек ее писал, человек, о котором с классовой тревогой однажды спросил у известной уже в двадцатые годы сибирской писательницы Сейфуллиной один из попечителей молодых талантов и направителей морали того времени: "Зазубрин, вероятно, является поклонником Достоевского?", и Сейфуллина ответила: "К сожалению, да..."

В такие вот времена жил и творил талантливейший русский писатель, несгибаемый коммунист, яркий человек – Владимир Яковлевич Заzubрин, которому давно следовало бы поставить памятник в Сибири, может, и на родине его, в Пензе, а мы, его современники-читатели, только-только "открываем" для себя беспощадное заzubринское слово правды, соприкасаемся с книгами, поведавшими о нашей действительности такое, что, осознав ее губительные последствия, содрогнется крещеный мир и не захочет следовать нашему историческому примеру, минет все тяжкие, мученические революционные пути, отвергнет учения, зовущие к смертельным потрясениям, к кровавой смуте.

1991

Доброе слово

Об Аскольде Якубовском

Сразу же и оговорюсь, слово "доброе" я употребил в его широком значении, то есть слово крепкое, своеобычное, прочное. А то у нас в литературе одно время начали было использовать его в благотворительных целях: я, мол, писатель, буду к тебе, читатель, добреньким, а ты, в свою очередь, – всепрощающим, и будем мы вполне довольны друг другом, а что слово при этом дрябнет, хилым становится, так ведь много их, слов-то, в языке нашем...

Как отраднo, что все чаще и чаще среди идущих в литературу людей появляются те, кто не хочет для себя никаких снисхождений, похлопываний по плечу ни от читателя, ни от критики.

Очень это важно – самостоятельность с самых первых шагов. В любом деле, конечно, важно, а уж в литературе в особенности.

Еще на Кемеровском семинаре молодых писателей Аскольд Якубовский привлек к себе внимание всех руководителей семинара именно своей писательской самостоятельностью.

Нельзя сказать, чтобы тема его повести "Не убий" (в журнальном варианте называлась она иначе – "Мшавя") была очень уж неожиданна: два геолога отправляются в глухие болотные места, чтобы нанести на карту дом, попавший на аэрофотосъемку, а вместо дома неожиданно обнаруживают потаенный поселок, где, как оказалось, обитают фанатичные поборники древлеотеческой веры. Спрятавшиеся в болотах люди больны, дики и до того темны, что "чужане" не знают, с какого бока и как приступить к ним, чтобы рассказать о "своем" мире и вести их с собою в

этот мир.

Несильные в "агитации" двое парней тем не менее взбудораживают поселок, и кажется, вот-вот победа будет за ними. Но парни-геологи все же плохо знают "Мшаву", ее мертвую, гибельную трясиину, где все покрыто, как ряской, ханжеской проповедью "спасения", а под нею – корысть, разврат, тяжкое бремя веры и беспощадное отстаивание ее "устоев".

Страницы повести, где уставник потайного села Гришка голый становится на берегу гнилой болотной речки и отдает себя на съедение комарам, дабы "принять муку" за свою паству, написаны Якубовским так зримо и взволнованно, что порою уж и не верится, что писал эти страницы молодой писатель и что это его первая повесть.

"На берегу сидел старец. Голый. Он светился на солнце отвратительной наготой иссохшего полумертвого тела. И дымился, как головешка, – это налетел гнус... Поднималась древняя лесная жуть. Выглядывали из-за стволов губастые рожи, в осоке торчали рога, где-то невдалеке хохотали лесные, невидимые днем, жители. Во мхах горели синие свечечки... Пришло утро. Старец был серый, терял очертания в сером столбе гнуса – комаров и мошкеры. Но теперь он поднялся, стоял. Шевелились губы, руки вычерчивали мелкие кресты – должно быть, старец молился. Старухи сбились вокруг него густым, напуганным стадом... Стонали, всхлипывали, некоторые падали в мокрую осоку и бились, как рыбы".

Этот самый старец многолик. Принимая муку, он смирен и молчалив, а когда понадобится, он возьмет в руки карабин и вместе со своим подручным Яшкой, у которого "голова шаром, лоб стянут морщинками в узкую полоску. Нос глядит двумя широкими темными ноздрями прямо на собеседника. Губы пухло-красные, глаза черные, вертучие", вместе с этим Яшкой, выполняющим на тысячу процентов охотничью норму, нападет на парней-геологов, и один из них будет убит из-за угла в грудь наповал...

Обороняя себя, друга Николая и тот светлый мир, куда хочет вывести герой повести "болотных людей", он убивает из ружья уставника и Яшку, подленького и нахрапистого человека, который был связующим звеном между болотным поселком и миром, который бабничал, пил, забирал у темных людей задарма пушнину, жил на широкую ногу, был "передовым охотником"...

Если бы Якубовский ограничился только описанием пути по болотам к потаенному поселку, открытием поселка и тем, что в нем произошло, повесть все равно была бы захватывающей. Но он – мыслящий человек, и герой его повести не может, не должен забывать того, что случилось, что произошло... Как это он, человек мирной профессии, доброго и даже застенчивого склада души, своими руками...

Пять лет прошло, а ему "все видится прозрачная северная тайга, прокисшая, болотистая... В ушах – гром – отзвуки выстрелов... Николай Лаптев... Никола, который почему-то всегда пах кедровыми орешками. Должно быть оттого, что, плутая как-то с теодолитом, без продуктов и патронов, в нарымских кедрачах, мы недели три кормились орехами..."

Убийство, насильственная смерть противоестественны человеку, как противоестественна и та жизнь, которая открылась геологам в потаенном поселке, жизнь, отброшенная на несколько веков назад, на уровне пещерного человека – с пещерной моралью...

Не должно ее быть! Люди, простые парни, не могли и не прошли мимо, хотя и могли бы... Один из них пал, как солдат в бою, за лучшую людскую долю...

Хорошая, умная повесть. Пересказом я ее, разумеется, очень обеднил, ибо что такое любой, даже подробный, пересказ по сравнению с живой, густо написанной прозой? Но эта повесть, как пристань, от которой Аскольд Якубовский отчалил в свою дальнейшую работу, и потому я так подробно остановился на ней.

Вторая повесть А. Якубовского – "Дом" продолжает мысль, поднятую в "Не убий". Стыжательство, корысть, отрешенность от мира возможны не только в непроходимых болотах, в потаенном поселке. Дом стоит на окраине большого города, но он тоже "Мшава", он тоже засасывает людей, выхолащивает души, делает их волками среди людей, и в мирном доме происходит чудовищное убийство, расправа над молодым человеком, виноватым лишь в том, что он не "такой", что по закону ему может

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
отойти часть дома...

Защищая "свой дом", а точнее, сущность свою, собственника и стяжателя, хозяйка дома поднимает руку на сродственника – брата своего мужа...

Но "не убий" – старая и вечно живая мораль – в изображении Якубовского обретает новый какой-то и сильный смысл. Человек не создан для того, чтобы убивать и проливать кровь, даже в тайге он "не должен палить во что попало..." "Не слишком ли кровопролитно наше вооруженное общение с нею?" (с природой), – спрашивает в первой повести себя и других ее автор и герой.

Убившая живого человека хозяйка "Дома" и сама погибает в страхе, пьянстве, полной опустошенности, а "добро", "дом", которому она отдала свою жизнь, совесть, всю себя, оказываются никому не нужными...

Повесть "Дом" написана крепче, чем "Не убий", и это радует. В первой повести Якубовского еще нет-нет да и запнешься о такие строки: "Пять шагов, поворот, и опять пять шагов. И как возможно это цеплянье за старые глупости!.. Несчастья крепко взнуздывают человека, поднимают его... Придумываешь новый план, помня минувшие ошибки, и опять кладешь кирпич к кирпичу". Конечно, запнувшись за такие строчки, морщишься так, будто босой ногой о неуклюжие пенья зашибся, тем более что автор, как я уже говорил, умеет писать густо, точно и обходиться без литературщины, возвращать слову его истинное значение.

Вот хороший тому пример: "чем больше я хожу по тайге, тем сильнее люблю наше чернолесье, пышную древесную роскошь средней полосы. А хвойный лес, всегда зеленый – летом и зимой, – как мумия, не то вечно юн, не то вечно мертв".

Как точно употребил Якубовский слово "чернолесье"! Ведь даже у даровитых наших писателей в силу плохого знания природы и истоков русского языка понятие "чернолесье" и "краснолесье" стало употребляться наоборот по приблизительному, внешнему признаку писатели начали хвойный лес называть "чернолесьем".

Достоин похвалы молодой писатель за такую добрую работу над словом. С этого и начинать надо. Но увы, такие "храбрецы" не так уж часто встречаются среди молодых литераторов. Большею частью они предпочитают пользоваться языком уже употребленным, процеженным другими писателями и часто попадают впросак, хотя бы с тем же словом "чернолесье".

Кроме двух повестей, в книжке Якубовского "Не убий" напечатаны четыре рассказа. Они мне понравились меньше повестей. Наверное, это старые рассказы Якубовского. И такой рассказ, как "Коротыш", не звучит после повести "Не убий". Он из той же "оперы", но сделан слабее, и как-то в нем все очень привычно и похоже на множество других "геологических" произведений. Лучшим среди четырех рассказов мне кажется "Красный таймень", глубокий, с совершенно уморительно написанным характером попа-рыбака.

1971

По горячим следам

О Константине Симонове

Когда рукопись моей книги об Александре Николаевиче Макарове "Зрячий посох" была доведена до того, что ее можно было читать не только жене, но и другим "заинтересованным" лицам, я решил попросить ее прочесть Константина Михайловича Симонова: и потому, что в книге он присутствует неоднократно, и потому, что учился вместе с Александром Николаевичем Макаровым, и потому, что опыт его работы в литературе, в том числе и документальной, неизмеримо больше моего. Следовательно, надеяться можно было и на добрые советы, и на поправки каких-либо неточностей, и просто мне давно хотелось встретиться и поговорить с Константином Михайловичем, к которому я со всей душевной симпатией относился еще с фронтовых юношеских лет, и пребывание мое в одном с ним литературном цехе не только не убавило этой симпатии и уважения, но и преумножило их.

Я запомнил отчетливо тот год, когда Константин Михайлович ушел из "Нового мира" и по какому-то поводу, вроде бы опять о войне, выступал по телевидению. До этого мне почти не доводилось его видеть "вживе", кажется, видел у гроба Фадеева, но в

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru отдалении и не задержался на нем взглядом. Потом – в редакции журнала "Знамя". В 1959 году у меня печатали там рассказ – первый в толстом журнале! А у Симонова – роман. И вот я сидел на старом, впивавшемся в зад пружинами кожаном диване, жмясь поближе к обласкавшему меня работнику отдела прозы, милому человеку Виталию Сергеевичу Уварову, дожидаясь очередных поправок от очень капризной, начисто подавившей меня своим всезнанием и интеллектом редакторши. И в это время возник в редакции маленький переполох, – редакция размещалась тогда в тесном, захлавленном помещении, и большому переполоху там негде было подняться. Прочастила каблучками какая-то дама, юркнула под лестницу уборщица, распахнул перед кем-то двери лучащийся светозарной улыбкой секретарь журнала Катинов; задвигались, закружились какие-то люди с сигаретами и без сигарет. И в этом людском водовороте и дыму вдруг тоже закружилась комочком пены седая-седая голова. У головы оказалось довольно смущенное лицо Симонова! И хотя говорила про меня бабушка: "Приметлив! Ох приметлив!" – я все же с трудом его узнал, ибо Симонов мне все еще представлялся чернявым, густоволосым, с усами почти гусарскими и с трубкой в зубах – истинный поэт!

В руках у него были цветы – большой букет роз, который он нес, уверенно выставив перед собой, раскланиваясь на ходу, кому-то улыбаясь, и, гортанно выкрикнув что-то Катинову, исчез за дверьми незнакомого мне кабинета.

Впоследствии Александр Николаевич, выслушав всю эту картину в словах и в лицах и разрешая мое недоумение: "Неужто Кожевникову цветы?!" уничижительно усмехнулся.

– Деревня! Кожевникову?! Да если Кожевникову начнут дарить цветы благодарные авторы – он не выберется из вороха цветов! Он задохнется от ароматов! У него будет болеть голова. Это Людмиле Ивановне волок Костя цветы. Много, говоришь? Дорогие? Тогда ей! Ну, Костя... фрукт! Ах ты, Костя, Костя! "Каким ты быв, таким остався!" – передразнил он Симонова. И ко мне: "Ну, а вы-то, вы-то что?" – и глазки его засветились искоркой перевозбужденного любопытства.

– Ну, чё я? – говорю я Уварову, Виталию Сергеевичу, со всей непосредственностью озлившегося провинциала, которому терять нечего и в Москве негде жить. – Дак мне чё, тоже букет нести?

– Тебе не надо, – сказал Уваров. – Ты еще молодой, и у тебя денег нету. Вот уж когда роман выдашь – раскошелишься!..

Роман я так до сих пор и не выдал, букеты по редакциям носить не научился. И зря! Есть в редакциях и издательствах люди, которым я последнюю рубаху с тела отдаю, кусок хлеба разделю пополам, кровь, сердце, а вот с цветами...

Впрочем, всяк должен делать то, что у него хорошо получается. Мне кажется, и я убедился в этом впоследствии, у Константина Михайловича была врожденная способность делать людям приятное, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, ни с обстоятельствами, которые часто мешают нам делать людям добро.

И вот несколько лет спустя увидел я Симонова на экране телевизора, погасшего, усталого, совсем белоголового, без усов – или телевизор у меня был такой, что не все предметы различались? – говорил он тихо, как-то особенно проникновенно, печально, и под конец прочел несколько стихов из фронтовых тетрадей. У меня слезы навернулись на глаза; жена, слышу, носом зашмыгала. Мы с ней весь вечер проговорили о поэзии Симонова, о том влиянии, которое она на нас оказала в свое время, и выяснилось, что и она, хотя и была далеко от передовой, помнит по фронту стихи Симонова, Суркова, прозу Шолохова, и позднее – "Василия Теркина". И до них, работников военного тыла, мало что доходило, что уж говорить о нас – окопных землеройках?

Лишь в длительной обороне лета 1944 года, когда на передовой и стрельбы никакой не было, стали приносить газеты, один раз показали кино. Мы очень зачитывались главами из "Теркина" и, чтобы всем досталось, наклеивали газетные вырезки на картонки и передавали их из взвода во взвод.

Когда я – единственный раз – беседовал с Твардовским и сказал ему об этих картонках, он как-то по-особенному заинтересовался моим сообщением, спросил, не сохранилась ли у меня хоть одна картонка? И когда я развел руками – сам-де едва сохранился, – мне показалось, он даже погрузнел или огорчился, да и я вместе с ним, что нет у меня с собой такой редкостной, да и вообще никакой окопной

реликвии.

Конечно же, фронт, да и передовая не совсем оторваны от мира, идет сообщение людей туда-сюда: раненые – с передовой, пополнение – на передовую; хоть и худо, но работали радики, тянулись к фронту и по фронту провода; хоть и реденько, добирались до передовой письма – и в них часто песни, стихи, цветочки, карточки. Попав на передовую, песня или стих, простыми или сложными путями, распространялись по окопам. Так, песню "Бьется в тесной печурке огонь" я сам переписал и в ночное время по телефону орал ее неделю своим телефонистам.

Командир дивизиона молодой был, щеголеватый (умер совсем недавно – 2 января 1981 года в Ленинграде), услышал как-то мое пение, а я, напугавшись, прервался – нельзя ведь пустяками полевой телефон занимать! – сказал мне:

– Ну, что ты, что ты? Пой! Хорошая песня, и у тебя получается!

И потом, когда у него случались небольшие офицерские сборища с выпивкой, приказывал: "А ну, давай "Землянку"! И я затягивал, а офицеры подпевали.

Так, с моего голоса, и пошла по нашей части замечательная песня, и я об этом тоже имел удовольствие совсем недавно, во время последнего писательского съезда, рассказать нашему старейшему поэту Алексею Александровичу Суркову. Мне показалось, он выслушал мой рассказ не без душевной приятности.

А тогда вечером, растроганные воспоминаниями, мы с женой надумали было написать письмо Симонову, но, будучи по природе деликатным человеком, жена подсказала мне:

– Пошли-ка ты ему свою книжку и напиши сам.

– Нужна ему книжка какого-то очусовелого автора?

– Нужна не нужна, а ты пошли! Книжка с хорошими картинками, да и письма ты под настрой писать умеешь.

Иногда жен надо слушаться. Я это давно понял. И написал письмо Константину Михайловичу, в котором рассказал о том, как однажды пришел к нам, в почти полностью выбитый взвод, молоденький лейтенант и читал нам его стихи, вроде бы не к поре и ни к селу ни к городу, – о любви стихи. И все-таки стронулось что-то в наших онемелых душах. Но вскоре этот командир тоже погиб, а вот память сохранила и его, и как он читал стихи...

И книжку послал я Симонову, первую "толстую" книгу, изданную в Москве, да еще и с иллюстрациями. Ответ не заставил себя ждать. Пришло письмо, обстоятельное, без высокомерно-покровительственного тона, письмо старшего товарища по работе, в котором были и ободряющие слова, и замечания о прочитанной книге.

А вот встретиться и поговорить нам удалось лишь однажды. Так уж вбитая в меня наука – не быть навязчивым – действовала и действует до сих пор.

Когда я работал над "Зрячим посохом", один писатель, бывший на юге в Доме творчества, передал мне привет от Симонова и сообщил о том, что ему очень понравились заключительные главы "Последнего поклона", и он желал мне всяческих успехов. Признаюсь, я не думал, что эта книга "ляжет на сердце" Симонову, – очень уж, казалось мне, далека она от его творческого направления, да и жизнь, в ней рассказанная, ему, городскому человеку, должна быть совершенно чужая и неинтересная. Но шло время и почта приносила письма – отклики на "Поклон", и, как ни странно, – больше от людей городских, и не только бывших селян, что вполне объяснимо, а людей, в деревне никогда не живших.

Меж тем работа над "Зрячим посохом" подходила к концу, я давал ее читать друзьям по труду и тем, кто так или иначе в ней заинтересован и "отражен".

Когда рукопись "Зрячего посоха" прочла Аннета Александровна – дочь Макарова – и приободрила меня своим к ней добрым отношением, я попросил у нее совета дать ли рукопись для прочтения Симонову, поскольку о нем в книге кое-что сказано и сказанное нуждается в некотором уточнении, да и знал он Александра Николаевича давно и близко.

- Непременно! - сказала Аннета Александровна. - Непременно! Он, думаю, обрадуется этой книге. Вот только, слышала, он тяжело болен...

В тот же приезд в Москву, буквально через несколько дней после разговора с Аннетой Александровной, по приглашению любимого моего артиста Михаила Александровича Ульянова был я в театре имени Вахтангова, на премьере "Степана Разина", и увидел там Симонова. Он сидел чуть впереди меня, справа, в теплой рубашке и надетой на нее меховой безрукавке. Тяжкий кашель давил его весь спектакль.

"Пневмония! Знакомая мне болезнь, которая хуже тихой и злой тещи". Не знаю, мой ли пристальный взгляд или что другое заставило Константина Михайловича обернуться, и я увидел впалое землистое лицо, худую шею с туго натянутыми от трудного дыхания жилами, усталые глаза в темном, почти угольном обводе с как бы прилипшей к ним пленкой загустелых слез.

Мои глаза тоже затянуло слезами, и я какое-то время ничего не мог различить на сцене - слишком много дорогого и светлого связано у нашего поколения с этим писателем, слишком он был нам необходим и привычен, и привычен всегда молодым, деятельным, романтичным, удачливым, у всех и всегда на виду...

Он не создавал себе такого "портрета" - это время и мы, читатели, создали его, - и у меня разбитый болезнью, худущий, усталый человек вызвал не столько чувство горести, сколько растерянности, сознания и собственной уже изработанности, немощей, прошедшей молодости. Ведь часто в других жалеешь утраченного себя лучшего, и это единственный эгоизм, который можно оправдать в нас, людях.

"До рукописи ли ему?" - махнул я рукой, а вот повидаться мне с Константином Михайловичем захотелось - наитие, что ли, сработало? - можно и не увидеть, не успеть - не хочу об этом судить задним числом.

При еще одной встрече Аннета Александровна спросила, послал ли я рукопись Симонову, и сообщила, что разговаривала с ним по телефону, что он очень тепло отозвался обо мне и рад был, что именно я решил написать книгу о Макарове.

Я написал коротенькое письмо Симонову и скоро получил ответ с разрешением прислать рукопись.

Прочел он ее очень быстро, как потом сказал, - "за одну ночь", и попросил меня побывать у него. "Поговорить есть о чем", - добавил он в письме.

Позвонил ему от друга, слышу - кашляет беспрерывно, хрипит даже, и я сказал, что, может, не надо? Может, потом?

- Нет-нет! Немедленно приходите, а то я скоро уеду, и многое забудется. Надо поговорить сейчас, по горячим следам...

Он был совсем болен, выглядел еще хуже, чем тогда в театре, но при моем появлении поднялся, вышел в коридор, - видимо, чтобы приободрить меня и как-то оградить от укорных взглядов близких своих: ночью, как выяснилось, была "неотложка".

Я чувствовал себя скованно и неловко.

- Да не переживайте вы, - махнул он худой и слабой в кисти рукой. - Вы что думаете, лежать вот тут, на диване, и смотреть в потолок - легче, что ли? Правда, я пробовал читать. Вы "Сашку" Кондратьева читали, с моим предисловием?

Я сказал, что читал и что повесть мне понравилась, и Симонов, откашлявшись и отдышавшись, сказал, что как раз Кондратьева новую вещь и читал.

Заговорив о литературе, Константин Михайлович оживился, и мы с ним повспоминали военное время, он мне упомянул про бои под Могилевом, а я ему сказал, что мир очень кругл и узок и что, прочитавши в его дневниках о самолете-кукурузнике, сидящем на крыше, вспомнил и место, и городок - это было на окраине городка Зборова, на Львовщине, ныне по новому административному делению отошедшему в Тернопольскую область.

- Да что вы говорите?! Н-ну, знаете! - рассмеялся Константин Михайлович. - Вот и еще одна страничка войны разгадана!

- Я был молод, - говорю, - по бабушкиному заключению - "приметлив", да и стояли мы в Зборове несколько дней. А вы небось промелькнули на корреспондентской машине?!

- Да уж помелькал, поездил, полетал! - протяжно вздохнул Константин Михайлович.
- Чаю, водки, Виктор Петрович?

- Какая уж нам, пневмоникам, водка? - отмахнулся я. - Спина вон и без нее мокра...

- Тоже, значит? Не запускайте эту проклятую болезнь. Вымотает! Вон, говорят, и Шукшина она доконала.

- Да, будто бы с нее началось...

Принесли чаю, крепкого, горячего, и под чаек мы с Константином Михайловичем о многом переговорили. Я знал об его истовой работоспособности, посетовал на себя, разбросанного, работающего лихорадочно, наскоками.

- А как вырываете вы время для такого объема работы, чтения, служб? поинтересовался я и тут же с восхищением отозвался о его телевизионной работе "Шел солдат" и сказал растроганно. - Если б не были вы так худы, обнял бы вас от имени всех нас - солдат, живых и погибших, да боюсь задавлю!

Он очень засмутился, покашлял и сказал, что в пятницу, субботу и воскресенье всегда уезжает на дачу и уже эти дни его, уж тут он работает с упоением, работает и старается никого к себе не пускать.

"Старается", - сказал он, однако тут же, узнавши, что я собираюсь писать роман о войне, о быте войны, о солдатах, об окопной жизни - если это можно назвать жизнью, - пригласил меня обязательно побывать у него в Пахре, на даче, пожить там и посмотреть, вернее - просмотреть, богатейшую его фототеку.

- Вы знаете, - сообщил он, - я всю войну собирал фото: на дорогах, в окопах, в заброшенных избах, маленькие, большие, с документов, парадные, семейные, и ох как вам необходимо это все посмотреть. Уверен, очень и очень вам поможет моя фототека в работе. Приезжайте в любое время. Я вам дам ключ, садитесь и действуйте. Вот я съезжу в Крым, подлечусь, поработаю...

Я робко возразил - не надо бы в Крым-то. Два раза я там был, и оба раза дело оборачивалось обострениями.

- Да вот знаете, в Гурзуфе такое удобное место для работы, в санатории. И подсушусь, глядишь...

Я сказал, что сушиться нашему брату пневмоник, наверное, следует все же в сухом месте, где-нибудь в Туркмении или в Таджикистане.

- Или вот, - вспомнил я, - в Узбекистане. Вы ж его обжили, перевели на русский!..

- Да, обжил, - согласился он, - наверное туда и поеду когда-нибудь. Но сейчас... вот собрались уж... И нравится мне в Гурзуфе. Да, секретарша моя принесет вам все, что я успел сказать о вашей рукописи. Извините, что на диктофон, но так скорее, да и руки у меня что-то дрожат последнее время. Мы с вами потом обязательно еще встретимся и поговорим, непременно поговорим. Нам есть о чем поговорить, и не только по рукописи, - нам говорить и не переговорить о войне. Берегитесь. Пишите. Мы, газетчики, уже "свою" войну написали. Вы правы - по количеству написанного выходит, что мы - главная ударная сила были на войне... - Он опять слабо махнул рукой, закашлялся.

Я поднялся.

- Все-таки мне надо уходить, Константин Михайлович. Я и так злоупотребил вашим

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
вниманием и гостеприимством.

- Да что вы там такое... говорите... Господь с вами! - с перерывом произнес Константин Михайлович.

Но он все же очень утомился и сам, верно, почувствовав это, надписал мне на память несколько книжек, в том числе особенно мне дорогую как бывшему окопнику "Шел солдат", и мы стали прощаться. В коридоре, подав мне руку, Константин Михайлович слабо коснулся щекой моей щеки, и меня чуть уколола редкая щетина.

"Симонов - и не бритый! Да что же это такое!" На глаза снова навернулись слезы. Я поклонился всем домашним и вышел, осторожно притворив дверь.

Более Константина Михайловича Симонова я не видел. Звонил ему еще раз и по голосу понял: в Крыму ему стало хуже и разговаривает он со мною лежа.

А потом раздался, уже в Вологде, телефонный междугородный звонок, и Константин Михайлович сообщил, что звонит из больницы, что тут его хорошо подлечили, что он работает, непременно хочет со мной встретиться, показать фототеку. И я решил, как он выпишется из больницы, отдохнет маленько, одолеет писательскую текучку, сразу же и поеду к нему, хоть на недельку.

А вскорости прилетел я или приехал откуда-то, и прямо у дверей жена моя, Мария Семеновна, дрожа голосом и утирая слезы, сообщила:

- Ты знаешь, беда-то какая!.. Константин Михайлович скончался.

Вот и все, что я смог вспомнить и написать о человеке и писателе, к которому всю жизнь привязан как читатель, уважал его как гражданина, воина и труженика, такого, каких, к сожалению, очень мало в нашей литературе.

А то, что успел надиктовать Константин Михайлович о рукописи "Зрячий посох" всего за несколько часов до отхода поезда в Крым, будучи совершенно больным, - пусть станет послесловием к моей книге "Зрячий посох" и уроком нам, в сущности физически здоровым людям, частенько проживающим часы и дни в пустопорожней суете, болтовне и прекраснотушии.

1983

Под тихую струну

Из неоконченной статьи о творчестве Ю. Нагибина

Тот рассказ давно уже не печатается. Видно устарел, считает автор. Странное, порой совершенно никому не понятное бывает отношение писателей к своим произведениям. Впрочем, только ли у писателей и только ли к своим произведениям? Глянь, вокруг и сплошь и рядом обнаружишь странное отношение к своим детям, к миру, к искусству - все состоит из видимых и невидимых противоречий, все и вся живет вечным усилием одолеть эти противоречия, а литература в первую голову.

Порой глыбы противоречий как бы дробятся на мелкий камешник, и лежит он, омытый водою по берегам реки жизни, приманивая разноцветьем, пугая холодностью, тяжестью и множественностью своей. Только мысль человеческая пытается объять необъятное, постигнуть глубину прошедшего и бездонность будущего, только мысль способна защитить человека от беспомощности перед окружающим его миром, перед страшным смыслом бытия, только память дает ему радость и горечь воспоминаний. Как затруднена и как сложна жизнь мыслящего человека.

В одном из рассказов Юрий Нагибин удивится, казалось бы, близко лежащему "открытию": человек знает о своем конце, животное - нет. И в этом знании самое страшное человеческое противоречие, и в этом же знании его спасение от тьмы, безвестности, от покорности и забвения. Человек сопротивляется, ищет спасения от смерти, стремится к бессмертию, животное лишь предчувствует смерть, но неспособно осмыслить его, а следовательно, и бороться за него. И когда человека низводят до положения животного, он покорным стадом идет на смерть, смиренно приемлет свой конец, - так на территории нынешней Туркмении монголы вырезали целое, цветущее, но, увы, безоружное и беспомощное государство. Чтобы уничтожить целый народ, каждому монголу полагалось убить по шестьсот человек, и мне,

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
современному человеку, непонятно, как это шестьсот человек поддались одному, вооруженному саблей и луком вояке?! Да они если б плюнули на него по разу и то он захлебнулся бы и утонул в мокре...

Застой! Кроме всего прочего, война приостанавливает движение мысли, либо направляет ее в определенное русло, – разносторонне мыслящего существа, оно как бы консервирует чувства и мысли, кроме одной – выжить! А выжить – значит, победить. И невиданную изворотливость, сноровку, хитрость проявляет человек на войне, истребляя врага и оставаясь при этом живым. Однако всепоглощение чувств, мыслей, стремление к единой и единственной цели целого народа и общества рождает инерцию безмыслия, слепое, по чьей-то указке, по чьему-то приказу, движение жизни ведет человека, как слепого, он становится иждивенцем, перестав распоряжаться собой, отвечать за себя, он и ответственность за себя с себя снимает, плывет, куда его несет, идет, куда его подталкивают.

Так рождается ограниченность и стирается индивидуальность. Во всем! Везде! В одежде, в отношениях полов, в подчинении друг другу.

И чем дольше и больше война или состояние войны в обществе, тем дольше и больше бездуховность, которые порождают примитивные требования к себе, к окружающему миру и, как следствие, – тупое, похожее на общество, его породившее, искусство – без мысли, без истинной красоты: живые цветы вполне и с успехом заменяются ярко раскрашенными бумажными.

И наша лакировочная литература, искусство и нынешнее китайское возникли не случайно. У них есть почва, унавоженная безмыслием.

Как показали войны и особенно последняя, самая тяжелая, самая смертоубийственная, самая бесчеловечная остановка в поступательном движении человека, человеческой морали, чревата такими последствиями, что и сами эти последствия мы начали ощущать болезненно лишь многие и многие годы спустя, часто отыскивая причины в дне сегодняшнем, в действительности повседневной, а они, причины наших бедствий, там, во мраке веков, в первых схватках людей, заложивших камень раздора в человеческую историю.

Тяжко пробуждение человека от страшного, бредового сна войны, трудно его возвращение из смертной тьмы к свету жизни, настолько тяжело и трудно, что рождается в человеке робость, если не боязнь и перед этой самой жизнью, за которую он бился, не щадя живота, перед действительностью, к которой надо принадлежать отныне, строить ее, двигать и отвечать за самого себя.

Далеко не всегда и не так было с людьми, возвращающимися с войны, как это показано в кинохронике – эшелоны, цветы, музыка, счастливые лица, плачущие от счастья женщины. И эшелонов не всем хватало, и цветы были не всем, и встречающие не у всякого. Большое количество людей оказалось на перепутье – меж войной и миром. Желанным, долгожданным, но, увы, уже непривычным. Как жить? Где? Чем? У многих потеряны профессии, здоровье, нет семей, прервано учение. Одни надежды впереди. Но солдаты-то, рядовые-то хорошо за войну усвоили мудрый смысл нехитрой пословицы: "На Бога надейся, да сам не плошай".

Еще в госпитале робкий, смиренный солдат Степан притирался к шумному, боевому сержанту Егору, и с ним вместе подался в гражданскую жизнь, ибо один-то побаивался встречи с нею, с этой самой жизнью за воротами госпиталя. Самоуверенный Егор не зря приголубил Степана – мастеровой он мужик, а сейчас такому цены нет, разорены войной дома и села, самое время сейчас идти по деревням и "калымить", современно говоря.

Рассказ назывался несколько "в лоб", но не без лукавой иронии "деляги". В первой же попавшейся деревне "делягам" находится дело, много дел – все устарело иль порушено, везде нужны трудовые, в особенности мастеровые мужицкие руки. На постой бывшие вояки определяются, как и следовало ожидать, ко вдовушке и, разумеется, еще не старой, работают жадно, споро. Егор, само собой, подбивает клинья под хозяйку, но она как-то прохладно относится к нему, а вот к смиренному, безгласному Степану вроде бы и благоволит. И это больно задевает Егора – на войне он не знал соперников, да еще таких вот тихонь, как Степан. И, перекрыв крышу на избе хозяйки, приделав еще кой-какую работу по селу, Егор дает приказ двигать дальше. А Степан чего-то не спешит, чего-то мешкает, но ослушаться друга не смеет. И вот, в неурочный час, во время проливного дождя, не взявши с селян

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru за работу ни копейки (нечего и не с кого брать - уяснили "деляги"), Егор и покидает друга Степана, и деревушку, обескураженно кому-то грозя, что подается он не куда-нибудь, а аж на Камчатку! Отчего, почему на Камчатку?! Но герои Нагибина всегда совершали и совершают такие вот крайние, безрассудные поступки, вроде детей: "Не даете? Окно разобью!" И в этом какая-то неотразимая симпатия - всегда как-то смешно и жалко подобных "героев". Национальная, наверно, черта эта наша - бунтовать - вот оттого и грохает.

Степан благоговеет перед другом - этот даст жизни! Ему что? Ему и Камчатка нипочем! А сам он остается в тихом доме, у обворожительно ласковой вдовы, заниматься сельским трудом - где уж ему до Егора?!

В дальнейшем автор переименовал рассказ. Видно, коробило кого-то из редакторов прежнее название. Советские воины, освободители, симпатичные мужики, "положительные" во всех отношениях герои - и вдруг - "деляги". Стал он называться, может, и более точно, но как-то вяло - "Пути-перепутья", и ох, какие пути-перепутья видятся у этих "героев", которых бесчисленное множество встречалось на послевоенных дорогах, и как ясен, прост "жизненный предел" мастерового человека - Степана.

У нас литературу часто уподобляют райсобесу или церкви, которым надлежит оказывать всем и всяческую помощь, ну если не литературную, то хотя бы духовную, хотя бы замолить чьи-то грехи, утешить что ли заблудшую душу.

Именно в такой вот помощи нуждался и я тогда, ибо прочел рассказ в госпитале или перед демобилизацией из нестроевой части, теперь уж не помню, тоже пребывая в пугливой растерянности - куда идти? К кому? Как жить? Чем? Где?

Но Егор со Степаном уже попробовали жить той жизнью, что ожидала вскорости меня и миллионы таких как я "деляг", - уже шли вперед и трудно, с сомнениями, порой, как саперы, - на ощупь прокладывали путь к будущей жизни.

Это было и навсегда осталось в Нагибине: точно угадывать нужду человеческую, вовремя подставлять свое плечо - для опоры - ближнему своему или, как велеречиво и заносенно это называется в нашей критике, "откликаться на злобу дня". Откликались-то у нас многие и в литературе, и на сцене, и в кино, и в живописи, да ответное эхо часто не доносилось, ибо сама по себе "злоба дня", животрепещущая тема, может быть, лишь скомпрометирована, коли к ней идут с холодным сердцем и ремесленными устремлениями.

Художник, если он истинный художник, достигает ответного чувства посредством сострадания, переболевая болезнями каждого человека, раньше других пропуская через себя, через свое сердце токи времени, порой болезненные, рвущие сердце, и, приняв уж на себя удар, ослабляя своей болью боль ближнего, выходит к людям со своими мыслями, со своим видением и толкованием действительности. Откликнуться "на злобу дня" у нас всегда было достаточно писателей, но принять груз сегодняшней, быстрой и бурной жизни хватало сил и желания далеко не у многих.

В конце сороковых, в начале пятидесятых годов таких писателей были единицы, остальные все еще шли сомкнутым строем под команду, пели привычные, бодрые песни, пробовали печатать шаг, но на разбитых войной дорогах "строевым" не получалось, маршировали вразноплес, однако строй покидать не хотелось - в строю, в толпе, было легче, надежней, привычней.

Поэзия первая почувствовала сбой в сомкнутом строю, первой вспомнила, что времена другие, стало быть и песни надобны другие, и первой начала осваивать "мирный материал", однако постоянно чувствуя спиной жар и пламень войны, шевелящий ее упругие крылья.

Проза тащилась где-то в ближайшем обозе, как будто и не было Великой русской литературы, ни традиций ее, - унылый примитивизм, казарменная скука, упрощенная, как в военном уставе, мораль, умильные слова, банальные мысли, бодренькие, слащавые "герои". Людей нет или почти нет, только "герои", которые хвалят себя, свое время и слова: "счастье", "Родина", "народ", как разменная монета, сыплются из говорящего автомата.

Появляются не просто драмы, романы, полотна, кинокартины, целые их косяки, вырабатываются "направления", и, конечно же, творцы "направлений" становятся

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru направляющими, оттирают, поносят, а то и критическим обухом по голове бьют тех, кто творит иначе, – из литературы выключены Платонов, Булгаков, за пессимизм разносят "Землянку" Суркова. Как это: "а до смерти четыре шага"?, когда "Мы победили!". Народ, правда, пел "Землянку", невзирая на критические окрики, но "творцы", подобные Ермилову, Сурову или Бабаевскому, как-то изловчились обходиться без мнения народа.

Мне кажется, литература наша "прозевала" самую болезненную тему века одиночество цивилизованного человека, неожиданное для всех и прежде всего для самого человека, но... "Сто лет одиночества" появляется именно в момент самого острого разложения или, точнее, раздвоения вчерашнего человека природы, когда его естество подверглось жесточайшему испытанию, испытанию прогрессом, – западная литература ныла об одиночестве, Маркес прокричал о нем, ударил в набат. Услышали ли его люди? Да! Услышали во всем мире, ужаснулись, погоревали, воздали художнику и... живут дальше, как и жили, невозмутимо и обреченно.

Ну, а мы? Самые "чуткие", самые "острооткликающиеся", увы, мы умеем остро откликаться на то, на что позволено откликаться, все время выявляли и выявляем патристические дешевки с претензией на литературу. Но... проходит время и дешевка обретает облик собаки, которую обижают и которую надо защищать, показатель: "Белый Бим Черное ухо" – бестселлер не только советский, но и немецкий. Вот оказывается, где мы "смыкаемся" – добрые русские и жестокие немцы – любят и жалеют собачек, но еще любят сами себя... и не замечают неприятностей...

Так пропускается без запинки, равнодушно, гениальный "Пик удачи" Нагибина и потрясающая "Комиссия" Залыгина, так вырабатывается форма отношений между художником и обществом, между писателем и читателем.

1978

Соловьем залетным

О Кольцове

С радостью и трепетом написал я несколько слов о Кольцове. И тысячной доли не выразил того, что хотелось бы сказать о поэте, который с детства вошел в мою жизнь, но я думаю, все истинные россияне скажут о нем с любовью свои слова и дополнят друг друга. Прошу прощения, что не перепечатал письмо. Пишу из деревушки, а машинки тут у меня нету...

Еще в детстве, когда я не умел читать и не знал никаких поэтов, слышал уже песни Кольцова. Бабушка моя и вся наша родня на праздниках или сумерничая, т. е. когда пряли куделю, починались, вязали сети, среди других песен с особенной печалью и долгим проголосьем (в Сибири почти каждую песню растягивают на версту!) пели "Сяду я за стол – да подумаю" и часто плакали в конце песни.

И потом, в детстве, в ФЗО, на фронте, в разных концах России, слышал я песни складные, затрагивающие те истинно русские струны в душе, которые звучат и откликаются печально лишь на родное, близкое тебе слово, до того близкое и понятное, что кажется оно не сочиненным, не "составленным", а как бы уже тобою самим рожденным, потому что и в тебе самом оно постоянно звучало, но не умело вылиться, не находило выхода. И вот нашелся человек, поэт, и сказал твои слова, твоим языком и вздохнул вместе с тобой широко и грустно.

Не знаю, что главное в поэте Кольцове, что вообще главное в поэте. Но как мне дорого имя это, знаю – оно для меня как воздух, как свет, как пища, "потребляя" которую порой и не замечаешь этого, но, не будь их, и дня не проживешь без них. И как поэт Кольцов воистину народен и велик тем, что творения его живут в народе сами по себе, многие русские люди не знают, как не знала и моя бабушка и другие жители моего родного приенисейского села, что песни, так любимые ими, написаны поэтом Кольцовым.

Вот это и есть истинная народность! И сколько проскакало по России рысаками поэтических имен! Сколько прошумело их и кануло в Лету, а я вот сижу в заснеженной деревушке на Урале, и из сугробов светится за речкой огонек в тети Дашиной избушке, и вспоминается мне родное село на Енисее, сумерки зимние, жужжание веретен и тихие, протяжные голоса: "Соловьем залетным юность

Астафьев Виктор Петрович Награда и муки astafevvictor.ru
пролетела..."

И, глядячи на тети Дашин снулый огонек из сугробов, думаю я: "Юность-то пролетела, а Россия вечна, и вечен ее грустный певец, и пока есть Россия, будет и он жить вместе с нею и петь ее голосом из зимних заснеженных русских деревень".

1964

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!